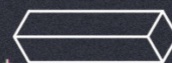
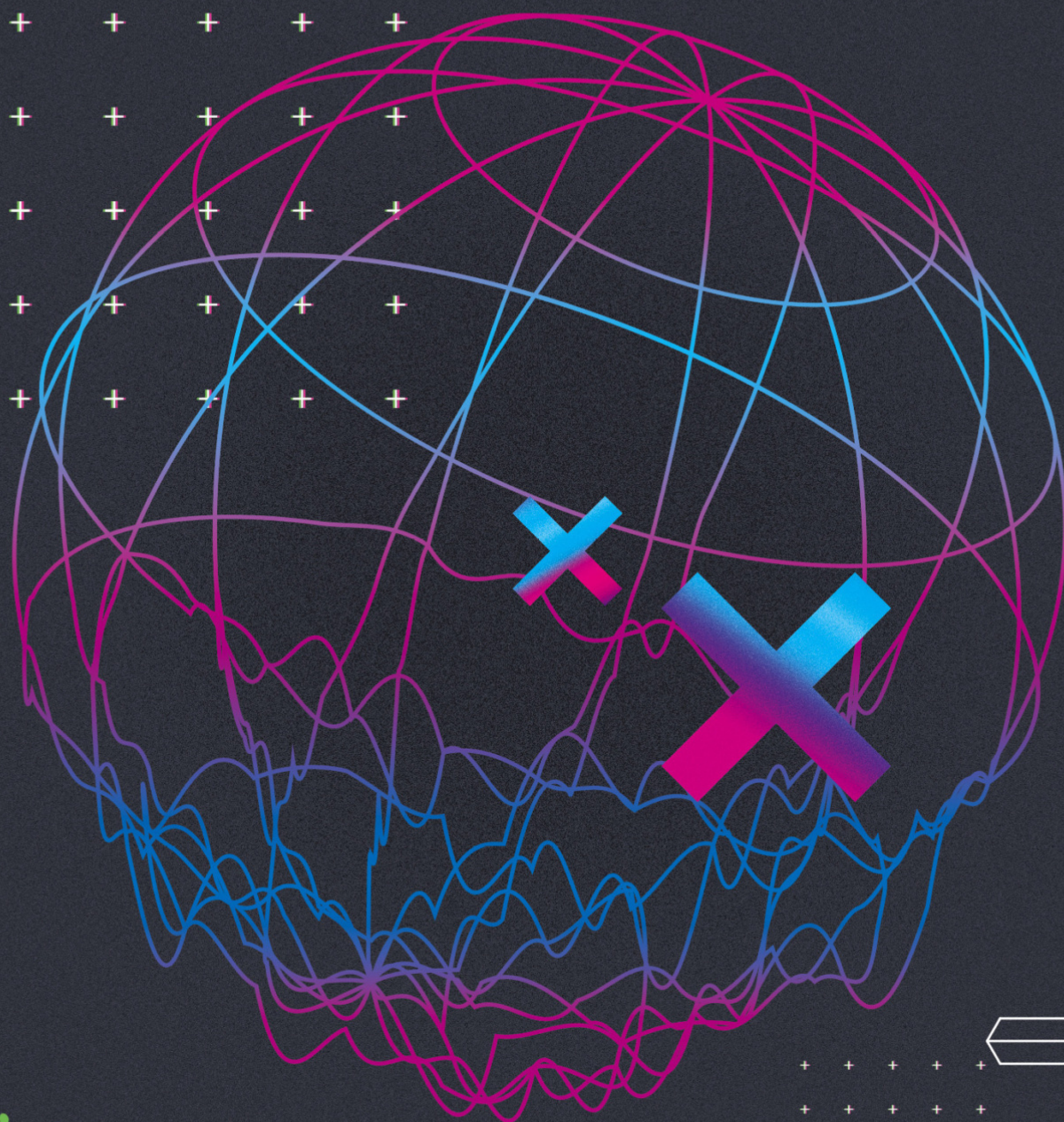


# Ким Стэнли Робинсон

## ЧЕРНЫЙ ВОЗДУХ



+ + + + +  
+ + + + +  
+ + + + +  
+ + + + +  
+ + + + +

ЛУЧШИЕ РАССКАЗЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ДЖОНАТАНА СТРЭНА

fan<sub>z</sub>on



Fanzon. Ким Стэнли Робинсон

Ким Робинсон

# **Черный воздух. Лучшие рассказы**

«ЭКСМО»

2010

УДК 821.111-312.9(73)  
ББК 84(7Coe)-44

**Робинсон К. С.**

Черный воздух. Лучшие рассказы / К. С. Робинсон — «Эксмо»,  
2010 — (Fanzon. Ким Стэнли Робинсон)

ISBN 978-5-04-163933-4

Новинка! Впервые на русском языке! Сборник лучших повестей и рассказов Кима Стэнли Робинсона, автора «Министерства будущего» и «Годов риса и соли». Премии «Хьюго», «Небьюла» и Всемирная премия фэнтези. Под редакцией Джонатана Стрэна. От руин затонувшей Венеции до вершин Гималаев и поверхности Марса! Экологическая стабильность, социальная справедливость, личная ответственность и, разумеется, развлечения. Герои Робинсона — искатели приключений, ученые, художники, рабочие и провидцы — исследуют мир, разительно отличающийся от традиционных для научной фантастики реалий. Мир, откуда рукой подать до Утопии.

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-163933-4

© Робинсон К. С., 2010

© Эксмо, 2010

## Содержание

Венеция под водой	6
Вылазка в горы	21
До того, как я проснусь	33
Черный воздух	42
«Лаки Страйк»	61
Конец ознакомительного фрагмента.	85

# **Ким Стэнли Робинсон**

## **Черный воздух. Лучшие рассказы**

Kim Stanley Robinson

THE BEST OF KIM STANLEY ROBINSON

Copyright © 2010 by Kim Stanley Robinson

© А. Корженевский, перевод на русский язык, 2022

© Д. Старков, перевод на русский язык, 2022

© А. Агеев, перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

## Венеция под водой

*Перевод Д. Старкова*

К тому времени, как Карло Тафур с трудом очнулся от сна, грудная дочь вопила как резаная, чайник свистел, в комнате веяло ароматом печного дымка, а из-за окна доносился плеск волн, лижущих стены нижнего этажа. Снаружи едва рассвело. Нехотя выпутавшись из простыней, он поднялся, прошлепал босыми пятками через другую комнату и, ни слова не говоря жене с дочкой, вышел наружу, на крышу.

«Да, на рассвете Венеция лучше всего», – думал Карло, справляя нужду с крыши в канал. В неярком розовато-лиловом свете зари нетрудно было вообразить, будто город точно таков, как всегда, как прежде, будто Гранд-канал, радуясь погожему летнему утру, вот-вот заполонят орды заезжих туристов... Впечатление портили разве что разношерстные, сооруженные из всякой всячины хижины на крышах соседних домов. В окрестностях церкви, Сан-Джакомо-ди-Риальто, дома затопило по самую кровлю, и потому черепичные крыши пришлось пустить на слом, а на балках перекрытий возвести хибарки из материалов, раздобытых внизу – досок, дранки, камня, металла, стекла. В такой же лачуге, шаткой постройке из брусьев, кусков цветного стекла из витражей Сан-Джакометто да сплюснутых кувалдой дренажных труб, жил и сам Карло. Оглянувшись назад, глава семейства тяжело вздохнул. Нет, уж лучше смотреть туда, за Риальто, на алое солнце, сияющее над луковицами куполов Сан-Марко...

– Тебя те японцы сегодня ждут, – напомнила изнутри жена Карло, Луиза.

– Знаю.

Туристов в Венеции до сих пор хватало, это уж точно.

– Да гляди, не обидь их чем, – продолжала супруга. Голос ее доносился из дверного проема – яснее некуда. – Не то опять без денег домой погребешь, как с венграми в прошлый раз получилось. Ну, какая, скажи мне, разница, что они там из-под воды достают? Все это – прошлое. Кому какой прок от старья, валяющегося на дне?

– Заткнись. Сам знаю, – устало откликнулся Карло.

– А нам дров надо купить, и овощей, и туалетной бумаги, и носки для малышки, – не унималась Луиза. – А лучше этих японцев клиентов тебе не сыскать, так что ты уж с ними повежливее.

Вернувшись под крышу лачуги, Карло ушел в спальню, одеваться. Между первым и вторым башмаком он решил устроить себе перекур (сигарета последняя, табака в доме больше ни крошки). Со вкусом затягиваясь табачным дымком, Карло не сводил глаз с книг на полу – коллекции книг о Венеции, «библиотеки», как саркастически именовала ее Луиза. Книги все до единой потрепаны, разлохмачены, заплесневели, покособились от сырости так, что ни одна толком не закрывается, каждая страница – все равно, что поверхность Лагуны в ветреный день... жалкое, одним словом, зрелище. Проходя мимо, Карло легонько пихнул носком остывшего за ночь башмака ближайшую стопку и снова вышел в другую комнату.

– Ухожу, – целуя дочурку, а после – Луизу, сказал он. – Буду поздно: они Торчелло хотят навестить.

– Что их туда понесло?

Карло пожал плечами.

– Может, просто полюбоваться желают.

С этими словами он, пригнув голову, вышел за дверь. Чуть ниже крыши, в прямоугольном дворике, покачивались на воде соседские лодки. Соскользнув с черепицы на узенькие наплавные мостки, сооруженные вместе с соседями, Карло подошел к своему суденышку, широкобортной парусной шлюпке под брезентовым тентом. Шагнул в нее, он отшвартовался и погреб к выходу в Гранд-канал, а там, на просторе, поднял над водой весла и предоставил

шлюпке самой нести его вниз по течению. Некогда Гранд-канал, естественная протока среди илистых отмелей Лагуны, был укрощен людьми, но теперь вновь превратился в настоящую реку с сотнями «рукавов», с берегами из черепичных крыш да каменных стен дворцов. С рассветом вокруг закипела работа, строительство новых лачуг на крышах домов. Знакомые при виде Карло махали ему, не выпуская из рук кто веревки, кто молотка, кричали «привет», а Карло, проносясь мимо, салютовал в ответ приподнятым над бортом веслом. Глупость это, конечно, строиться у самого Гранд-канала: теперь ему вполне хватает силы сметать с пути старые здания, чем он нередко и пользуется... а впрочем – их дело. Если уж на то пошло, кто здесь, в Венеции, не дурак?

Добравшись до Бачино-ди-Сан-Марко, он направил шлюпку через Пьяцетту, мимо Дворца дождей, величаво возвышавшегося над водой на целых два этажа, к Пьяцце<sup>1</sup>. Лодок тут, как всегда, скопилось – не протолкнешься. Только здесь, в этом месте, Венеция и оставалась по-прежнему многолюдной, а потому бывать у Сан-Марко Карло любил, однако шнырявшие под носом гондолы проклинал так же громогласно, как и всякий другой. Исхитрившись пробиться к окну базилики, он направил шлюпку внутрь.

Гвалт под куполами, сверкавшими золотом и лазурью, царил ужасный. Большую часть воды в зале занимали наплавные мостки. Пришвартовавшись к ним, Карло выгрузил на настил четыре воздушных баллона для акваланга, выбрался из лодки сам, подхватил по паре баллонов в каждую руку и двинулся через причал, к рынку. В рыбных рядах жизнь бурлила вовсю. На прилавках красовались, выставленные на продажу, лотки с кефалью, тунцом, камбалой и скаты и туши выловленных в лагуне акул. На подносах возвышались груды моллюсков, и створки их раковин поблескивали в солнечных лучах, падавших внутрь сквозь разноцветные стекла восточного окна; живых крабов торговцы с торговками доставали прямо из люков в настиле, безбоязненно суя пальцы в кишачие крабами краболовки; осьминоги в ведерках мутили воду чернилами; морские губки сочились пеной; рыбаки наперебой выкрикивали цены на свой товар, не забывая мимоходом хулить свежесть товара соседей.

В самом сердце рыбного рынка держал лавку подводного снаряжения Людовико Салерно, доводившийся Карло одним из лучших друзей. Там Карло ждали двое клиентов-японцев. Поздоровавшись с ними, он отдал Салерно баллоны, а тот принялся подключать их к компрессору для перезарядки. Пока баллоны наполнялись сжатым воздухом, оба трескуче тараторили по-итальянски, наскоро обмениваясь новостями. Покончив с перезарядкой, Карло расплатился и повел японцев к шлюпке. Усевшись, оба пристроили рюкзаки под брезентовым тентом, а Карло погрузил на борт баллоны.

– Мы готов плыть Торчелло? – спросил один из них.

Второй с улыбкой повторил его вопрос. Звали японцев Хамада и Таку. Поначалу без шуточек насчет того, что последний и Карло – практически однофамильцы, не обошлось, но итальянским Таку владел куда хуже товарища, а потому остроты эти быстро сошли на нет. Наняли они Карло четыре дня тому назад, все у той же лавки Салерно.

– Да, – подтвердил Карло.

Вырулив из толчеи Пьяццы, он повел шлюпку каналами помельче, мимо Кампо Санта-Мария-Формоза, почти такой же людной, как и Пьяцца. За нею каналы вмиг опустели: здесь безмятежность затопленного города нарушали лишь редкие хижины на крышах домов.

– Этот часть город Венеция много люди не жить, – заметил Хамада. – Дома на домах – нет.

---

<sup>1</sup> Площадь Сан-Марко – главная городская площадь Венеции, логически делящаяся на две части: пространство от Гранд-канала до колокольни собора Сан-Марко (Пьяцетту) и собственно площадь (Пьяццу). (Здесь и далее – примечания переводчика.)

– Это точно, – откликнулся Карло. Шлюпка как раз миновала Сан-Заниполо и госпиталь. – Тут госпиталь слишком близко, – пояснил он, – а в госпитале какой только заразы не было. Болезней, понимаете?

– А-а, «Оспедале Чивиле»! – закивал Хамада, а следом за ним и Таку. – Мы плавать госпиталь прежний, не этот, приезд Венеция, так. Много прекрасный статуя снизу поднять.

– Каменный лев, – добавил Таку. – Много каменный лев с крылья на глубина двадцать-сорок.

– Это точно, – как заведенный повторил Карло.

«И стоят, небось, теперь эти львы у входа в роскошный особняк какого-нибудь японского бизнесмена по ту сторону света», – подумал он про себя и, чтобы отвлечься от таких мыслей, принялся разглядывать пышущие здоровьем, глянцевитые, точно маски, лица пассажиров, смеющихся над собственными воспоминаниями.

Вскоре они пересекли Фондамента Нуове, северную границу города, и вышли в Лагуну. С норда бежала легкая зыбь. Еще раз-другой взмахнув веслами, Карло перебрался вперед и поднял единственный парус: ветер с зюйда, так что идти до Торчелло, на норд, недолго. В лучах рассвета Венеция за кормой казалась просто прекрасной, будто до города – многие мили и марево над водой мешает разглядеть его во всех подробностях.

Японцы, прекратив болтовню, перегнулись через борт. Шлюпка шла над Сан-Микеле, над островом, служившим городу кладбищем не одну сотню лет. При низкой воде все эти склепы, мавзолеи, обелиски да надгробные камни как бы не хуже любых рифов... но сейчас в глубине маячили лишь причудливо ровные белые прямоугольники – будто плоды архитектурного творчества рыб. Дабы произвести на клиентов должное впечатление, Карло поспешно перекрестился, снова сел к румпелю, натянул шкот потуже, и шлюпка, чуть накренившись на борт, развернулась носом навстречу негромко плещущим волнам.

От силы минут через сорок они оказались возле Мурано, обходя его по краю, вдоль восточной границы. Подобно Венеции, вдоль да поперек рассеченный каналами, до потопа Мурано был попросту небольшим, притягательно старомодным островным городком. Однако множеством высоких зданий он, как Венеция, похвастать не мог, а подводное течение, по слухам, изрядно размыло его островки, так что от городка почти ничего не осталось. Тут японцы оживленно затараторили между собой, а после Хамада спросил:

– Карло, этот город... возможно ли посетить?

– Слишком опасно, – отвечал Карло. – Много зданий в каналы обрушилось.

Японцы с улыбками закивали.

– Люди здесь жить? – спросил Таку.

– Да, но мало совсем. Живут в самых высоких домах, куда вода не достала, а работают в Венеции. Так им в городе хижин на крышах строить себе не приходится.

На лицах обоих спутников отразилось недоумение.

– Нехватка жилья в Венеции им нипочем, – пояснил Карло. – В Венеции – вы, возможно, заметили – с жильем сейчас туговато.

На сей раз шутку клиенты поняли и громогласно захохотали.

– Есть акваланг – на нижние этажи тоже жить можно, – сказал Хамада, кивнув на снаряжение Карло.

– Это точно, – откликнулся тот. – А еще жабры можно отрастить.

Выпучив глаза, он чиркнул пальцами по горлу, изображая жабры. Эта шутка японцам тоже пришлась по душе.

За Мурано Лагуна на несколько миль вперед была чиста – морская лазурь, покрытая сверкающей на солнце рябью. Шлюпка закачалась с носа на корму, ветер туго натянул шкот в руке, и Карло охватила небывалая радость.

– Шторм надвигается, – известил он спутников, указывая на черную полосу над северным горизонтом.

Зрелище было привычным. Недолгие, однако буйные штормы несло с Австрийских Альп через перевал Бреннер, в долину По, а после – в Лагуну и далее, в Адриатику, где гроза шла на убыль, по разу в неделю, а то и чаще, даже во время лета. Главным образом из-за них-то рыбный рынок и обустроили под куполами Сан-Марко: уж больно всем надоело торговать да покупать под дождем.

Тучи на горизонте оказались знакомы даже японцам.

– Много дождь скоро быть здесь, – сказал Таку.

– Таку и Тафур, предсказатели погоды, – с ухмылкой откликнулся Хамада. – Отличный компания получиться!

Все трое вновь рассмеялись.

– Он и в Японии погоду предсказывает? – поинтересовался Карло.

– Да, в самом деле, конечно! В Япония дождь каждый день. Таку сказать: «Завтра дождь обязательно», – и он пророк. Предсказатель погоды!

– А ваших городов все эти дожди не заливают? – спросил Карло, когда смех утих.

– Э-э... что?

– Ну, свои Венеции у вас, в Японии, есть?

Об этом японцы разговаривать не желали.

– Не понимать... нет, в Япония – Венеция нет, – спокойно отвечал Хамада, однако на сей раз шутка ни того, ни другого не рассмешила.

Шлюпка шла дальше. Мало-помалу Венеция, а за ней и Мурано скрылись за горизонтом. Теперь и до Бурано рукой подать. Держа шлюпку носом к волне, Карло слушал, как спутники беседуют меж собой на собственном немислимом языке, порой переключаясь на ломаный итальянский, отчего его то разбирало безудержное веселье, то такая досада, что хоть планширь зубами грызи.

Вскоре впереди показался Бурано. Вначале над горизонтом поднялась кампанила<sup>2</sup>, а за нею последовали немногие здания, не скрывшиеся под водой целиком. Если в Мурано все еще кое-кто жил, работал крохотный рынок, а на Иванов день даже праздник устраивали, то Бурано обезлюдел напрочь, кампанила его покосилась, будто мачта затонувшего корабля. После 2040-го от островного городка остались одни только крыши, отделенные друг от дружки частой сеткой «каналов». Здорово недолюбливавший Бурано, Карло обогнул его далеко стороной. Спутники снова негромко затараторили по-японски.

До Торчелло, еще одного опустевшего островного городка, оставалось не более мили. Отсюда, от Бурано, уже видна была его кампанила – высокая, ярко-белая на фоне черной пелены надвигавшихся с севера туч. К городку подошли в молчании. Спустив парус, Карло отправил Таку на нос – следить, не подвернется ли под днище топляк либо еще какое препятствие, и осторожно, неторопливо заработал веслами. Шлюпка послушно заскользила мимо кровель домов и стен, торчавших всюду вокруг, точно морские рифы или фундаменты древних зданий над сушей. Множество черепицы и балок перекочевало отсюда в Венецию: строиться-то людям нужно... а впрочем, Торчелло к подобному не привыкать. Во времена Возрождения он, миниатюрный соперник Венеции, мог похвалиться двадцатью тысячами населения, однако в шестнадцатом и семнадцатом столетиях начисто обезлюдел – тут-то сюда, на развалины городка, в поисках доброго мрамора или лестничного пролета подходящих размеров, и явились венецианские зодчие. Затем городок на время ожил вновь, заселенный несколькими тысячами жителей, зарабатывавших плетением кружев да обслуживанием туристов, предпочитающих меланхолию, однако поднявшиеся воды погубили Торчелло окончательно и беспово-

---

<sup>2</sup> Кампанила – колокольня, обычно стоящая отдельно от здания храма.

ротно. Стоило оттолкнуться веслом от стены, огромный кусок кладки не выдержал – подался, канул на дно. Пришлось Карло сделать вид, будто он ничего не заметил.

Еще немного, и шлюпка оказалась на открытой воде – на относительном просторе Пьяццы<sup>3</sup>. Площадь окружали несколько уцелевших крыш не выше шлюпочной мачты и шер-батые зубья кирпичной и каменной кладки, венчавшие тени уходящих под воду стен. О плане города, о былом расположении улиц оставалось только гадать, однако Санта-Мария Ассунта, собор Успения Девы Марии, выходящий на Пьяццу, держался непоколебимо, верно служа опорой для белой кампанилы, прямо, горделиво тянувшейся к небу, словно Торчелло по-прежнему жив.

– Этот церковь. Здесь мы желать погружаться, – сказал Хамада.

Карло кивнул. От навеянного плаванием веселья не осталось даже следа. Огибая Пьяццу по кругу, он принялся высматривать ровное место, где можно причалить и приготовиться к погружению. Пристройки к собору, изрядных размеров зданию, ушли под поверхность воды целиком. Раз киль шлюпки заскрежетал о конек крыши. Следуя вдоль амбароподобного нефа, все трое глядели в высокие окна. Всюду вода, как и следовало ожидать... но вот за одним из небольших окошек в боковой стене кампанилы, расширенным чьей-то кувалдой, обнаружился лестничный марш, а парой ступеней выше – каменный пол. Туда-то они, пришвартовавшись к стене, и перетащили все необходимое снаряжение. В неярком полуденном свете грубо отесанный камень внутри казался рябым от теней. Кампанилу почтенные жители Торчелло строили в спешке, полагая, что на рубеже тысячелетия, с наступлением года 1000-го от Рождества Христова, миру настанет конец. Подумав, насколько больше у них в запасе имелось времени, Карло невольно заулыбался. Вскрабавшись по каменным ступеням вверх, к самой звоннице, на миг ослепленные внезапным солнцем, все трое огляделись вокруг. На юге виднелись Бурано с далекой Венецией... ну, а на севере, за отмелями Лагуны, начиналось побережье Италии. Черная полоса туч над ним казалась кромкой стены, почти целиком скрытой за горизонтом, однако стена поднималась, росла на глазах, а стало быть, шторма не миновать.

Спустившись со звонницы, Карло с японцами снарядились для погружения и один за другим плюхнулись в воду у стены кампанилы. Снизу, среди комплекса церковных сооружений, было темно. Карло без спешки вывел японцев назад, на Пьяццу, и направился в глубину. Дно оказалось илистым, и Карло старательно держался повыше, не прикасаясь к нему. Тут его подопечные увидели тот самый каменный трон посреди Пьяццы (в одной из заплесневелых книг Карло говорилось, будто называется он Троном Аттилы, только никто не знал, отчего) и замахали друг другу, указывая на него. Одному из них взбрела в голову дурацкая мысль – встать на дно да прогуляться по площади в лапах... и, разумеется, поднять со дна тучу ила. Второй присоединился к товарищу, и оба, увенчанные шлейфами пузырьков, принялись снимать один другого, восседающего на троне, подводными камерами.

«Ил непременно картинку попортит, – мрачно подумал Карло, предоставив клиентам резвиться, сколько душа пожелает. – Интересно, что им в соборе могло понадобиться?»

Наконец Хамада, подплыв к нему, указал в сторону церкви. Глаза японца под маской поблескивали от восторга. Неторопливо работая лапами, Карло повел обоих кругом, к парадному входу в собор. Дверные створки куда-то исчезли, так что проникнуть внутрь им удалось без труда.

В соборе царил тьма. Все трое, сняв с пояса огромные фонари, включили их, зашарили лучами по сторонам. Конусы света превращали темную воду в чистейший хрусталь, но разглядеть интерьер собора это не помогло. Пол покрывал толстый слой ила. Наблюдая за рышущими по залу клиентами, Карло бесцельно водил по стенам лучом фонаря. Странно, однако часть

---

<sup>3</sup> Пьяцца – здесь: главная площадь города.

окон, здесь, под водой, оказалась нетронутой. Шлейфы пузырьков в луче света превращались в чистое серебро.

Вскоре японцы добрались до той самой картины, керамической мозаики в западной оконечности нефа. Один из них (кажется, Таку) отер с мозаики слизь, отчего мозаика сразу же сделалась куда как красочней прежнего. Первым делом японцы направились к самой большой, изображавшей Распятие, Воскресение Мертвых и Страшный Суд; столько событий разом – жизнь, можно сказать, бьет ключом. Чтоб разглядеть все как следует, Карло придвинулся ближе, однако, едва оттерев стену дочиста, японцы отправились в противоположный конец собора: там, над рядами сидений, обращенных к апсиде, имелась еще одна мозаика. Хочешь не хочешь, пришлось Карло следовать за клиентами.

Эту мозаику тоже очистили быстро, и, едва муть осела, лучи трех фонарей скрестились на открывшейся перед ныряльщиками картине.

Богородица, Теотака Мадонна... Изображенная на тускло-золотом фоне с Младенцем на руках, Дева Мария взирала на мир печальным всеведущим взглядом. Качнув ластами, Карло поднялся над головами японцев, направил луч фонаря Богородице прямо в лицо. Казалось, она обладает способностью видеть грядущее, до этой самой минуты и далее – и всю недолгую жизнь своего малыша, и все ужасы, все беды, случившиеся после. При виде мозаичных слез на ее щеках Карло тоже едва не омочил слезами и без того мокрое лицо. На миг он словно бы перенесся в какую-то церковь на самом дне глубочайшего моря: давление чувств, распиравших грудь, всерьез угрожало разорвать сердце, и сдерживать их стоило немалых трудов. Холод воды вгонял в дрожь, пузырьки воздуха из выпускного клапана густым, непрерывным шлейфом струились кверху... а Мадонна смотрела, смотрела, смотрела на него, не сводя глаз. Брыкнув ногой, Карло развернулся и поплыл прочь. Спутники, точно вспугнутые рыбешки, устремились следом. Во главе с Карло ныряльщики выплыли из собора в сумерки Пьяццы, поднялись на поверхность и направились к шлюпке, к проему окна.

Сбросив ласты, Карло устроился на ступенях, обсохнуть. Таку с Хамадой, влезши в окно, сели рядом и о чем-то возбужденно залопотали по-своему, по-японски. Карло мрачно взирал на обоих, и, наконец, Хамада повернулся к нему.

– Мы хотеть та картина, – сообщил он. – Мадонна с младенец.

– Что?! – во весь голос вскричал Карло.

Хамада приподнял брови.

– Вот та картина мы хотеть взять домой. В Японию.

– Но как?! Картина... она же из уймы маленьких плиточек, намертво к стенке приклеенных – не можете же вы взять их да ободрать!

– Итальянский правительство позволять, – встрял в разговор Таку, однако Хамада жестом велел ему замолчать.

– Мозаика, да. У нас с собой инструмент. Кислородно-водородная горелка. Метод... как в археология, понимать? Разрезать стена на части, на кирпичи, пронумеровать их – и собрать на новое место. В Японию. Над водой, – пояснил он, блеснув жемчужной улыбкой.

– Нельзя же так! – объявил Карло, оскорбленный до глубины души.

– Не понимать, – отозвался Хамада, хотя понял все – лучше некуда. – Итальянский правительство разрешить.

– Здесь тебе не Италия, – зарычал Карло, в гневе поднявшись на ноги.

Тем более зачем им там, в Японии, Мадонна? Они ведь даже не христиане...

– Италия – там, – продолжал он, в расстроенных чувствах по ошибке махнув рукой на юго-восток, чем, несомненно, сбил японцев с толку сильнее прежнего. – А мы Италией сроду не были! Здесь – Венеция! Венецианская республика!

– Не понимать. – Что-что, а эту фразу японец, похоже, зазубрил на всю жизнь. – Мы получить разрешение от итальянский правительство.

– Иисусе Христе, – пробормотал Карло, едва не задохнувшись от возмущения. – И долго вы с этим провозитесь?

– Время? Работать сегодня и завтра, уложить кирпичи здесь, нанять в Венеция баржа, отвезти кирпичи в Венеция...

– Ночевать здесь? Нет, ночевать здесь я не собираюсь, к дьяволу оно все провалилось!

– Мы взять третий спальный мешок...

– Нет уж! Я с вами, подлыми языческими гиенами, тут не останусь...

Окончательно разъяренный, Карло принялся освобождаться от экипировки.

– Не понимать.

Карло вытерся насухо и оделся.

– Оставлю вам акваланги, а сам вернусь завтра, к концу дня. *Понимать?*

– Да, – подтвердил Хамада, даже не переменившись в лице. – Вы привести баржа?

– Что?.. Да-да, приведу я вам, каракатицам, баржу! Стервятники... грязееды... подонки...

– Шторм близко! – жизнерадостно объявил Таку, указывая на север.

– К дьяволу вас! – откликнулся Карло, прыгнув в шлюпку и оттолкнувшись веслом от стены. – Понимать?

Покинув Торчелло, он вновь оказался в Лагуне. Действительно, шторм приближается, так что надо бы поспешить. Поставив парус, Карло натянул брезентовый тент до самой кормы, укрыв им всю шлюпку, кроме собственного сиденья. Ветер теперь дул с норда – сильный, однако порывистый. Под его натиском парус натянулся туго, как барабан, и шлюпка понеслась, поскакала с волны на волну, оставляя за кормой пенный след, ослепительно-белый на фоне черного неба. Наползавшие сзади тучи затягивали небосвод, точно занавес, деля его напополам, и граница, отделявшая черную половину от блекло-синей, была пряма, ровна, будто струна. Все это здорово напоминало Карло тот, первый великий шторм 2040-го, когда из туч, накрывших Венецию плотным шерстяным одеялом, сорок дней кряду лил проливной дождь... и с тех пор подобного не повторялось больше нигде – нигде на всем белом свете.

Вскоре шлюпка миновала затонувший Бурано. На фоне черного неба виднелась лишь покосившаяся кампанила, и Карло вдруг понял, отчего ему так ненавистен вид опустевшего городка: да это же образ грядущей Венеции, бесчеловечно жестокая модель скорого будущего! Поднимется уровень моря хоть на три метра – и станет тогда Венеция всего-навсего большим Бурано. А если и не поднимется, Венецию с каждым годом покидает все больше и больше народу. Настанет день, и быть великому городу пусту...

При этой мысли Карло снова охватила та же тоска, что и под взором Теотаки – беспросветная, граничащая с неизбывным отчаянием.

– Эх, провалилось оно все, – с чувством сказал он, глядя на увечную кампанилу, но этого показалось мало. Каких слов тут могло бы хватить, Карло даже представить себе не мог. – *Провалилось оно все...*

Первый шквал настиг шлюпку сразу же за Бурано. Порыв ветра едва не вырвал шкот из руки. Пришлось вцепиться в снасть что было сил, закрепить шкот на корме, а затем закрепить в нужном положении румпель и, не прекращая ругани, ползти по туго натянутому брезенту вперед, чтоб подобрать рифы. Парус Карло зарифил до величины носового платка, однако шлюпку по-прежнему швыряло с волны на волну, мачта скрипела, будто вот-вот переломится... Гребни волн украсились колпачками из белой пены, ослепительно-яркими на фоне черного неба, а пронзительно воющий ветер срывал их и нес прочь, к горизонту.

«Пожалуй, к Мурано надо идти и там переждать», – подумалось Карло.

Тут начался дождь. Струи ливня, куда холоднее воды в Лагуне, не падали – хлестали над волнами едва ли не горизонтально. Ветер усиливался, парус величиной с носовой платок всерьез угрожал вырвать мачту из степса...

– Господи Иисусе, – вырвалось у Карло.

Снова вскарабкавшись на брезент, он подполз к мачте и кое-как сумел убрать парус: онемевшие от холода пальцы нипочем не желали слушаться. Справившись со снастями, Карло вернулся в «нору» на корме и отчаянно вцепился в планширь. Вдруг шлюпка вильнула в сторону, едва не развернувшись бортом к волне. Поспешно схватившись за румпель, Карло чудом успел вовремя развернуть суденышко носом к огромному валу и задрожал от невероятного облегчения. Каждая новая волна казалась больше, выше предшественницы: в Лагуне волнение набирает силу с поразительной быстротой.

«Ну, ладно, – подумал Карло, – а дальше-то как?»

На веслах? Нет, не годится: во-первых, надо держаться носом к волне, а во-вторых – против такой болтанки попробуй-ка выгребь.

«Придется идти, куда волны несут, – сообразил он. – Если не к Мурано и не к Венеции, так хоть в Адриатику вынесет».

Подбрасываемый волнами, взлетая кверху, падая вниз, он призадумался: что ему светит, ежели вправду на волю волн положиться? На ветру такой силы голая мачта работает не хуже любого паруса, а ветер – вроде бы с норда... и малость к весту. Волны – таких высоченных он в Лагуне еще не видывал, а может, подобного здесь не случалось от начала времен – ясное дело, гонят шлюпку примерно туда же, куда и ветер. Выходит, в Венецию ему не попасть: Венеция строго на зюйде, а может быть, даже немного к весту от зюйда...

«Вот дьявол», – подумал Карло. А все из-за того, что он разозлился на этих японцев из-за Теотаки! Какое ему, спрашивается, дело до затонувшей мозаики из Торчелло? Помог ведь он иностранцам отыскать и увезти того самого бронзового коня, упавшего с Сан-Марко... и множество знаменитых венецианских каменных львов, символов города... и, господи Христе, целый Мост Вздохов! Так что же сейчас на него вдруг нашло? Откуда такая забота о всеми забытой мозаике?

Ну что ж, как бы там ни было, а дело сделано. Сделанного не воротишь.

Каждая новая волна поднимала нос шлюпки, проскальзывала под днище так, что Карло, имея на то желание, мог бы разглядеть ее подошву, а мачта ложилась едва ли не в линию с горизонтом, а после шлюпка выравнивалась, подымаясь на ломаный пенный гребень волны, словно бы только и думающей, как бы ей захлестнуть норку под брезентом, а самого Карло на дно уволочь... на секунду суденышко взмывало в воздух, освободившееся из воды перо руля делалось совершенно бесполезным, а затем Карло стремительно несло вниз, к подошве следующей волны. Наверху ему всякий раз думалось, что эта волна погубит его наверняка, и, хотя он вымок насквозь, а ветер с дождем были изрядно холодны, страх, постоянные приливы адреналина да плотная шерстяная куртка не позволяли замерзнуть. Около сотни волн внушили уверенность в том, что очередная, всего вероятней, пройдет под днищем, как и предыдущая, и Карло сумел наконец хоть немного расслабиться. Делать нечего: шторм придется пережить, держа шлюпку строго носом к волне... и все тогда будет в порядке. Ну да. Пускай волны несут его через Адриатику в Триест или Риеку, в один из этих двух гнусных городишек, сменивших Венецию на троне Королевы Адриатики... принцесс, так сказать, Адриатики, и при этом – изрядных шлюх... а еще лучше – просто переждать шторм, развернуться да плыть восвояси.

Да, вот только Лидо... Некогда – архипелаг из трех островков, Лидо превратился во что-то вроде барьерного рифа, а волны такой высоты, перекатываясь через него, наверняка опрокинут шлюпку. К тому же в северной части Адриатика широка – одна ошибка (а вечно он, как ни крути, не продержится), и волны, ударив в борт, захлестнут, перевернут шлюпку, и не миновать тогда Карло встречи со всеми прочими венецианцами, нашедшими смерть на дне Адриатики... а все из-за этой треклятой Мадонны!

Сжавшийся в комок на корме, Карло пошевеливал румпелем, принаравливаясь к особенностям каждой волны, не обращая внимания на весь прочий хаос и тьму, охватившие море

и небо вокруг. Мастерство мореплавателя, с коим он шел навстречу собственной гибели, все-ляло в душу своеобразное мрачное удовлетворение, а о Лидо до времени лучше было не вспоминать.

Так он и вел шлюпку вперед, и вскоре начисто позабыл о течении времени, как бывает со всяким в отсутствие пространственных ориентиров. Волна за волной, волна за волной, волна за волной... На дне шлюпки скопилось немного воды, и настроение Карло заметно ухудшилось. Нет, так не годится: так шлюпка мало-помалу затонет прямо под ним.

И тут к пронзительному, неземному посвисту ветра присоединился громоподобный басовитый рокот. Оглянувшись назад, в том направлении, куда волны гнали шлюпку, Карло увидел белую полосу, тянущуюся слева направо, и сердце в груди его екнуло, сжалось от ужаса. Вот оно... там путь волнам и преграждает Лидо, превратившийся в барьерный риф.

Волны расшибались об отмели вдребезги: на глазах Карло над рифами взвивались к небу белые полотнища пены пополам с брызгами, а ураганный ветер тут же рассеивал их без остатка, обращал в ничто. Жуть это зрелище нагоняло – словами не передашь: пожалуй, в море тонуть и то не настолько страшно.

Но вот он... там, среди белых бурунов, малость правее... серый палец, тянувшийся к черным тучам...

Кампанила?

Тут Карло пришлось отвернуться к набегавшей волне и выровнять шлюпку, но, вновь оглянувшись назад, он обнаружил, что ему не почудилось. Да, кампанила... возвышается над водой, точно угасший маяк...

– Иисусе Христе, – проговорил он вслух.

Казалось, волны несут его мимо, парой сотен метров восточнее. Однако поднятая на гребень шлюпка соскальзывала к подножию волны, да так быстро, будто вот-вот выскользнет из-под Карло, и в это время он самую малость отклонял румпель, направляя шлюпку под углом к волне, к западу, пока новая волна не поднимет суденышко на гребень, вынуждая выровнять руль. Раз за разом повторяя этот деликатный маневр, в нетерпении Карло не раз рисковал опрокинуться. «Нет, так не пойдет, не пойдет, – подумал он. – От каждой волны – не больше, чем она позволяет... и моли Господа, чтоб этого оказалось довольно».

Тем временем Лидо приближался, и ветер вроде бы гнал шлюпку напрямик к кампаниле. Которая это – та, что близ устья канала Лидо, или та, что на Пеллестрине, – понять Карло не мог, да и какая разница? Счастье, что его предки считали необходимым строить столь прочные колокольни. Улучив момент между волнами, Карло на ощупь отыскал под брезентом шлюпочный багор и бухточку тонкого троса. На подходе к кампаниле его ожидало самое сложное: беспомощно проскользнуть в паре метров от цели было бы крайне обидно, а врезаться в колокольню при такой-то волне – верная смерть. Правду сказать, чем больше Карло об этом раздумывал, тем сложнее, невыполнимее казалось ему задуманное. Охваченный страхом, он прекратил размышления и целиком сосредоточился на волнах.

Последняя оказалась самой большой. Чем ниже шлюпка скользила вниз, тем скат волны становился круче – казалось, спуску не будет конца. Черная громада кампанилы надвигалась неумолимо. Накатывающие волны с резким, убийственным грохотом разбивались о камень, а позади – это Карло видел отчетливо – струились, стекали вниз сквозь расселины в кладке невысокими, но бесконечно широкими водопадами. Грохот вокруг стоял невообразимый. Казалось, с гребня волны Карло вполне по силам допрыгнуть до верхнего окна кампанилы. Приготовив багор, он чуть повернул румпель в сторону, сделал глубокий вдох – один, другой, третий... Ревущая волна пронесла шлюпку в полуметре от башни, разбилась о камень, обдав Карло тучей брызг, и вот тут он налег на румпель всей тяжестью тела. Шлюпка стрелой метнулась в сторону, за кампанилу, а Карло, поднявшись на ноги, вскинул над головой багор, зацепил крюком нижний край оконного проема, потянул... Держится.

Теперь он оказался с подветра от башни. Разбивавшиеся о колокольню волны качали шлюпку вверх-вниз, шипели зло, однако без прежнего буйства, так что удержаться не составляло труда. Захлестнув конец троса за утку, Карло обвязал другим концом древко багра. Держался багор прекрасно, и он рискнул, наклонившись, привязать трос к утке намертво. Дальше ему предстояло рискнуть еще раз: едва кипящая, точно похлебка, вода, принесенная новой волной, подняла шлюпку выше, Карло вскочил с банки и ухватился за каменную плиту подоконника. Увы, плита оказалась слишком толста для его ладоней. На миг Карло повис в воздухе, цепляясь за камень одними кончиками пальцев, но тут же, подхлестнутый отчаянием, собрался с силами, подтянулся, сунул руку в окно, нащупал внутренний край подоконника, вновь подтянулся и сумел перекинуть через подоконник ногу. От каменного пола окно отделило не больше четырех футов. Поспешно втащив за собою багор, Карло уложил его на пол, натянул потуже изрядно провисший трос и выглянул наружу.

Шлюпка на волнах качалась, плясала – вверх-вниз, вверх-вниз. Ну что ж, либо затонет, либо нет... главное – сам он спасен. Осознав это, Карло шумно перевел дух и завопил во все горло от радости. Вспомнив, как проскочил мимо башни, не более чем в двух метрах от боковой стены, как вымок в облаке брызг, поднятых разбившейся о колокольню волной, он понял: во второй раз ему подобного трюка не повторить – хоть с тысячи, хоть с миллиона попыток! Из груди сам собой вырвался резкий, отрывистый победный смех.

– А-а-ха-ха-ха! Господи Иисусе! Ай да я!

– Кто-о-о зде-е-есть? – окликнули его тоненьким, скрипучим голосом из лестничного проема, с верхнего этажа. – Кто-о-о зде-е-ес-сь?..

Карло замер. Подкравшись к подножию каменной лестницы, он не без опаски поднял взгляд вверх. Там, над головой, мерцал неяркий свет – точнее выразиться, наверху оказалось не так темно, как где-либо еще. Скорее от удивления, чем от страха (хотя без испуга, признать, тоже не обошлось), глаза Карло сами собой вытаращились во всю ширь...

– Кто-о-о зде-е-ес-сь?..

Поспешно вернувшись к багру, Карло отвязал его от троса, нащупал на мокром полу тесный камень подходящей – вместо якоря должен сойти – величины и выглянул за окно. Шлюпка оказалась на месте. По обе ее стороны кипели, пенились волны, разбивавшиеся о Лидо. Подняв багор, Карло неторопливо двинулся наверх. После всего пережитого он любого духа в эфире запросто погромсает на лоскуты.

Наверху, колеблемый сквозняком, мерцал огонек свечи... кое-как освещавшей захлавленную комнату и...

– А-а-а! А-а-а!

– Господи Иисусе...

– Дьявол! Прочь, Смерть, поди прочь!

С этим на Карло бросился некто крохотный, сплошь черный, вооруженный острыми стальными спицами.

– Господи Иисусе! – повторил Карло, защищаясь выставленным перед собою багром.

Нападавший остановился.

– Вот Смерть, наконец, и за мною явилась...

Только тут Карло сумел разглядеть, что это старуха, а в руках у нее – пара игл для плетения кружев.

– Вовсе нет, – заверил ее Карло, чувствуя, как мало-помалу успокаивается биение сердца. – Богом клянусь тебе, бабушка, я – простой мореплаватель, а сюда меня шторм занес.

Откинув на спину капюшон черного плаща, обнажив собранные в косы седины, старуха сощурилась на неожиданного гостя.

– А зачем тебе, моряку, коса? – усомнилась она, раскрывая глаза пошире, отчего с лица ее исчезла пара-другая морщинок.

– Это всего-навсего шлюпочный багор, – возразил Карло, протянув ей свое оружие: вот-де, сама погляди.

Старуха отступила на шаг и вновь угрожающе подняла иглы для кружев.

– Просто багор, бабушка, Богом клянусь. Господом Богом, Марией, Иисусом-спасителем и всеми святыми. Я обычный моряк, из Венеции, штормом к тебе принесен.

Мало-помалу его начинал разбирать смех.

– Вот как? – откликнулась старуха. – Ну что ж, стало быть, от шторма ты спасся. Глаза у меня, знаешь ли, уже не те... Входи, присаживайся, – пригласила она и, развернувшись, повела Карло в комнату. – Я, видишь ли, как раз кружева во исполнение епитимьи плету... хотя света тут маловато.

С этим она показала Карло томболо<sup>4</sup> с распяленным на нем кружевным плетением. В орнаменте, точно в изорванных шершнем паучьих тенетах, зияли огромные бреши.

– Еще чуточку света, – сказала старуха, поднося к пламени горящей свечи фитилек новой.

Запалив вторую свечу, хозяйка отправилась с нею к противоположной стене и зажгла еще три свечи в фонарях, расставленных на столах, на ящиках, на платяном шкафу. Гостью она указала на массивное кресло у своего стола, и Карло, не чинясь, воспользовался приглашением.

Пока старуха усаживалась напротив, он оглядел помещение. Кровать, заваленная грудой одеял, ящики, столики, уставленные всякой всячиной... каменные стены, еще одна лестница, ведущая наверх, на следующий этаж кампанилы... и ошутимый сквозняк.

– Снимай куртку, – сказала старуха.

Пристроив подушку-томболо на подлокотнике кресла, она принялась неспешно орудовать иглой. Карло, откинувшись на спинку кресла, провожал взглядом тянувшуюся за иглой нить.

– Ты так совсем одна тут и живешь?

– Совсем одна, – подтвердила старуха. – И никто больше мне не нужен.

Освещенное пламенем свечи, ее лицо напомнило Карло лицо матери или еще чье-то, до жути знакомое. Обстановка в комнате после шторма казалась спокойной просто необычайно. Старуха склонилась к своему рукоделию, едва не уткнувшись в томболо носом, однако Карло не мог не заметить, что игла ее то и дело промахивается далеко мимо линий узора, вонзается то туда, то сюда, безо всякого толку. С тем же успехом хозяйка могла оказаться вовсе слепой. Самого Карло раз за разом бросало в дрожь: напряженному, взвинченному, ему до сих пор не верилось, что все опасности позади. Порою они нарушали молчание, перебрасывались парой фраз и вновь умолкали, поглощенные каждый своими думами, точно давние-давние друзья.

– А где же ты берешь продукты или, скажем, свечи? – спросил Карло после одной из подобных затянувшихся пауз.

– Ловлю омаров там, внизу. А еще рыбаки иногда заезжают, меняют пищу на кружева. И не волнуйся, в обиде не остаются. Я им сполна плачу, не скупясь, что бы он ни говорил...

Лицо ее исказилось от сильной душевной муки. Сощурившись, старуха умолкла и яростно заработала иглой. Карло отвел взгляд в сторону. Несмотря на сквозняк, он быстро отогрелся (тем более куртку снимать не стал: шерсть как-никак) и начал поклевывать носом...

– Некогда, в прошлой жизни, он был мне милым, задушевым другом, понимаешь?

Разом вскинувшись, Карло уставился на нее. Старуха же даже взгляда от томболо не подняла.

– А когда... а когда начался потоп, оставил меня здесь, здесь, в одиночестве, со словами, которых мне не забыть никогда, никогда, никогда! «Пока смерть не придет за тобой»... Ну, отчего ты – не смерть?! – внезапно вскричала она. – Отчего?!

Карло немедленно вспомнились острые иглы в ее руках.

---

<sup>4</sup> Томболо – подушка для плетения игольных кружев.

– А где это мы? – мягко спросил он.

– Что?

– Где мы сейчас? На Пеллестрине? На Сан-Ладзаро?

– В Венеции, – отвечала старуха.

Неудержимо дрожа, Карло поднялся на ноги.

– Я – последняя из них, – пояснила хозяйка. – Воды поднимаются ввысь, небеса раздражаются воем, обеты любви дают трещину и приводят к беде, а я... Я живу, дабы все видели, что человек в силах вынести и остаться в живых. Живу и буду жить, пока потоп, подобно Венеции, не поглотит всего мира. И буду жить, пока смерть не постигнет всего живого. И буду жить...

Осекшись на полуслове, старуха с любопытством воззрилась на Карло.

– А в самом деле, кто ты таков? Ах да, знаю, знаю. Моряк. Мореход...

– Наверху есть еще этажи? – спросил Карло, чтобы сменить предмет разговора.

Старуха сощурилась на него.

– Слова пусты, – помолчав, сказала она. – Я думала, что никогда больше не заговорю ни с кем, даже с собственным сердцем, и вот, поди ж ты, опять разболталась. Да, этаж выше цел, а вот дальше, над ним, сплошь развалины. Молния разнесла звонницу вдребезги, когда я лежала в этой самой постели.

Указав на кровать, хозяйка поднялась с кресла.

– Идем, я тебе покажу.

Совсем крохотная под просторным черным плащом, она прихватила с собою фонарь со свечой, и Карло, с осторожностью лавируя среди пляшущих теней, двинулся следом за ней.

Этажом выше ветер свирепствовал вовсю, а сквозь лестничный проем в потолке явственно виднелись черные тучи. Старуха, оставив фонарь на полу, направилась к лестнице.

– Поднимись наверх, и сам все увидишь, – сказала она.

Миновав лестницу, оба оказались на ветру, под открытым небом. Дождь прекратился. Пол наверху был усеян огромными блоками тесаного камня, обломки стен торчали кверху частоколом щербатых зубов.

– Я уж думала, вся кампания рухнет, – прокричала старуха сквозь завывания ветра.

Карло, кивнув, подошел к обращенной на запад стене этаж по грудь высотой. Буйные волны приближались одна за другой, поднимались и расшибались о камень внизу, брызжа назад и вверх, в сторону Карло. Каждый удар чувствительно отдавался в подошвах. Мошь волн внушала немалый страх: трудно было поверить, что он перехитрил шторм и теперь в безопасности. Карло с силой встряхнулся, помотал головой. Справа и слева сквозь зловещую черноту тянулись вдаль широченные белые полосы волн, разбиравшихся о Лидо. Между тем старуха не умолкала, и Карло вернулся к ней, послушать, о чем она.

– Воды-то поднимаются! – кричала она. – Видишь? И молнии... видишь, как молнии разносят в пыль Альпы? Вот и конец, дитя мое! Все островки до единого прочь разбежались, ни горки нигде не найдешь... Второй ангел вылил свою чашу в море – сделалось море, как кровь мертвеца, так что погибло в нем все живое...

Старуха кричала, кричала, и голос ее мешался с посвистом ветра и грохотом волн, едва различимый среди всей этой жути... пока Карло, усталый, промерзший до самых костей, исполнившись жалости и беспросветно-черной, чернее туч, затянувших небо, тоски, не обнял ее за хрупкие плечи и не развернул к лестнице. Спустившись этажом ниже, они подобрали угасший фонарь и сошли в хозяйскую комнату, по-прежнему освещенную парой свечей. Казалось, здесь, внизу, невероятно тепло и уютно. Старуха все говорила и говорила, а Карло без остановки дрожал.

– Да ты же совсем замерз, – с неожиданной деловитостью сказала хозяйка, стаскивая с постели пару одеял. – На-ка, возьми.

Усевшись в тяжелое, просторное кресло, Карло обернул одеялами ноги, откинул голову на высокую спинку. Устал он невероятно. Старуха, опустившись в кресло напротив, принялась наматывать нить на катушку. Помолчав минут пять, она снова заговорила, и задремавший было Карло, сменив позу, вновь начал неудержимо клевать носом, а старуха вещала, вещала – о штормах, о потопах, о конце света, об утраченной любви...

Однако, проснувшись поутру, Карло ее рядом не обнаружил. В неярком свете зари комната предстала перед ним во всей своей неприглядности: всюду убожество, мебель обшарпана, одеяла ветхи, безделушки венецианского стекла уродливы, аляповаты, как все венецианское стекло от начала времен... но чисто в комнате – просто на удивление. Поднявшись, потянувшись, чтобы размять одеревеневшие мускулы, Карло взобрался на крышу, однако старухи не оказалось и там. Утро выдалось солнечным. Шлюпка его уцелела – покачивалась на месте, под восточной стеной. При виде суденышка Карло заулыбался – судя по ощущениям, впервые за несколько дней.

Внизу старухи не обнаружилось тоже. Самый нижний из уцелевших этажей кампанилы, очевидно, служил ей эллингом: здесь Карло нашел пару ветхих весельных лодок и несколько верш для ловли омаров. Самый большой из «слипов» пустовал. Наверное, хозяйка верши отправилась проверять... а может, не пожелала беседовать с гостем при свете дня.

Из эллинга Карло сумел дойти до собственной шлюпки: всей глубины – по колено. Устроившись на корме, он вспомнил вчерашний вечер и снова заулыбался. Надо же, жив...

Сняв тент, он отыскал черпак, вычерпал воду, скопившуюся на дне, и все это время поглядывал, не объявится ли старуха, а после поднялся наверх за забытым багром и снова спустился к шлюпке, однако хозяйка все не возвращалась. Оставалось одно – только плечами пожать, а прощание отложить до лучших времен. Взявшись за весла, Карло обогнул кампанилу, отошел от Лидо, поднял парус и взял курс на норд-вест, где, по его расчетам, находилась Венеция.

Этим утром Лагуна была спокойней любого пруда, безоблачное небо – что лазоревый купол громадной базилики. Потрясающе... но Карло все это нисколько не удивило: вполне обычное дело по нынешним-то временам, а вот вчерашний шторм – да, то было нечто особенное. Отец всех на свете штормов, высочайшие волны из всех, какие доводилось видеть Лагуне, тут уж сомнений не возникало. Подумав об этом, Карло принялся составлять в уме рассказ, предназначенный друзьям и жене.

Венеция показалась на горизонте прямо по курсу, именно там, где он и рассчитывал, – вначале огромная кампанила, за нею вершина Сан-Марко и прочие шпили. Кампанила... Благодарение Господу, что предки так стремились наверх, поближе к Богу, а может, подальше от воды: это стремление спасло ему жизнь. В отмытом, освеженном вчерашними ливнями воздухе вид на Венецию с моря казался прекрасным, как никогда, и на сей раз Карло, против обыкновения, даже нисколько не раздражалось, что, сколько ты к ней ни приближайся, все она словно бы где-то за горизонтом, вдали. Такова уж она теперь, и что с того? Светлейшая... Серениссима... как же он рад ее видеть!

Однако проголодался Карло ужасно и от усталости за ночь избавиться не успел. Войдя в Гранд-канал, спустив парус, он обнаружил, что едва способен грести. Дождевая вода, стекавшая с суши в Лагуну, превратила Гран-канал в настоящую горную реку, и это тоже плавание вовсе не облегчало. У пожарной станции возле излучины канала друзья, возводившие на одной из крыш новую хижину, замахали ему, удивленные тем, что Карло в такую рань направляется вверх по течению.

– Не туда гребешь! – крикнул один из них.

Карло из последних сил приподнял весло и с плеском уронил лопасть в воду.

– Будто я сам не знаю! – прокричал он в ответ.

Вот он и за Риальто, снова в крохотном дворике против Сан-Джакометты, на прочном настиле, сооруженном с соседями, чутко пошатывается на ходу – так, вот здесь осторожнее...

– Карло! – донесся сверху отчаянный вопль жены. – Карло, Карло, Карло!

С этим она бросилась вниз по лестнице, спущенной с крыши. Карло остановился. Дома. Дома...

– Карло! Карло! Карло! – как заведенная кричала жена, сбегая на настил.

– Иисусе, да заткнись же ты, – взмолился он, неловко, грубовато привлекая жену к себе.

– Где же ты был? Я так за тебя беспокоилась из-за этого шторма, ведь ты говорил, что вернешься еще вчера, о Карло, как же я рада тебя видеть...

С этим жена, поддерживая Карло под локоть, повела его к лестнице. Малышка встретила отца громким ревом. Усевшись в кресло на кухне, Карло оглядел крохотную, сооруженную из того, что под руку подвернулось, комнатку с немалым удовлетворением. Жадно вгрызаясь в краюху хлеба, он рассказал Луизе о вчерашних приключениях – и о вандалах-японцах, и о невероятной гонке через штормовую Лагуну, и о безумной старухе в спасшей его кампаниле, а покончив с рассказом и с хлебом, начал засыпать на ходу.

– Но, Карло, тебе же еще за теми японцами возвращаться!

– Катись они к дьяволу, – едва ворочая языком, отвечал он. – Ублюдки гнусные... я ведь рассказывал: они же Мадонну на части резать задумали. Всю Венецию разграбить готовы, до последней картины, мозаики, статуи, барельефа – всю подчистую, а? Нет, не могу я такого терпеть.

– Ох, Карло, ну что в этом страшного? Развезут эти вещи по всему свету, приведут в порядок и скажут: вот, это из Венеции, величайшего города в мире...

– Им место не там, а здесь.

– Здесь, здесь, идем-ка, приляжешь на пару часов, а я схожу, спрошу у Джузеппе, не согласится ли он с тобой вместе вывезти с Торчелло эти кирпичи.

Отведя Карло в спальню, Луиза уложила его на кровать.

– Ну их всех, Карло. Пусть забирают, что найдут там, под водой. Пускай хоть подавятся.

На этом он и уснул...

...а с трудом пробудился и сел оттого, что жена трясла за плечо.

– Вставай, время к вечеру. Тебе ведь еще на Торчелло за этими двумя возвращаться. Кроме того, у них там все твоё снаряжение.

Карло страдальчески закричал.

– Мария сказала, Джузеппе согласен с тобой пойти и ждать тебя с лодкой будет на Фондамента.

– Провались оно все...

– Ну же, Карло, вставай. Нам очень нужны эти деньги.

Малышка вопила не хуже любого шторма.

– Ладно уж, ладно, – проговорил Карло, вновь рухнув на подушку. – Сделаю, сделаю, только не тереби ты меня.

Поднявшись, он проглотил поданный Луизой бульон, а после неловко, через силу, не обращая внимания на прощальные напутствия жены, спустился к шлюпке, отчалил и оттолкнулся от настила. Шлюпка, покинув дворик, приблизилась вплотную к стене Сан-Джакометты. На эту-то стену Карло и уставился во все глаза.

Помнится, как-то раз он, надев акваланг, спустился туда, в церковь. Настроив загодя грузовой пояс с баллонами, сел на одну из каменных скамей у самого алтаря и попробовал помолиться – прямо сквозь маску с загубником. Серебристые пузырьки выдыхаемого воздуха струились вверх, к небесам, а уносили ли с собой и молитвы, Карло, ясное дело, не знал. Спустя какое-то время он, чувствуя себя довольно глупо (но не только, не только), выплыл за дверь, а над дверью заметил надпись и развернулся, чтобы прочесть написанное, приблизив стекло

маски к самому камню. «Близ Храма сего да будет Закон Купца праведен, тяжесть гирь его верна, а сделки его безобманны»... Пожалуй, сие назидание, адресованное лихоимцам, ростовщикам да менялам с рынка Риальто прежних времен, Карло вполне мог бы отнести и к себе самому. Вот, скажем, тяжесть гирь – это про грузовые пояса: не перегружай клиента так, чтоб остался на дне...

На том погружение в воспоминания и завершилось, и Карло вновь вынесло на поверхность, навстречу предстоящей работе. Шумно переведя дух, он вставил весла в уключины и взялся за дело, повел шлюпку вперед.

Пускай забирают, что отыщется там, под водой. Все живое в Венеции – по-прежнему на плаву.

## Вылазка в горы

*Перевод Д. Старкова*

Трое сидят на камне. Верхушка отсыревшего гранитного валуна окружена снегом, подтаившим ровно настолько, чтоб обнажить ее. От валуна снег тянется во все стороны. На востоке упирается в лесополосу, на западе поднимается к склону отвесной скалы, суженной кверху, указующей в самые небеса. Гранитный валун, на котором устроились путники, – единственное темное пятнышко, единственная прореха в снегу от лесополосы до обрыва. Следы снегоступов ведут к камню с севера, пересекая склон поперек. Все трое греются на солнышке, будто сурки.

Один из них жует снег. Ростом он невысок, однако широкогруд, ноги и руки бугрятся мускулами. Отправив в рот очередную горсть, он поправляет синие нейлоновые гетры, прикрывающие его икры и башмаки. Серые гимнастические трусы оставляют обнаженными бедра. Наклонившись, он пристегивает к башмаку апельсиновый пластиковый снегоступ.

– Брайан, – окликает его сидящий рядом, – я думал, мы пообедать собираемся.

Второй путник высок, широкоплеч, к тонкой стальной оправе его диоптрических очков прикреплены темные солнцезащитные накладки.

– Пи-итер, – не спеша тянет Брайан, – здесь же как следует не поешь. Сам видишь: присесть-то негде. Вот как только тот отрог обогнем, – обещает он, указывая на юг, – так переходу конец, и мы, считай, уже на перевале.

Питер выпускает шумный, глубокий вздох.

– Мне отдохнуть требуется.

– О'кей, отдыхай, – соглашается Брайан. – А я пока двинусь в сторону перевала. Надоело на месте сидеть.

Подхватив второй апельсиновый снегоступ, он продевает носок башмака в ремни крепления.

Третий – среднего роста, необычайно худой, все это время не сводивший глаз со снежинок на носке собственного башмака, молча сует ногу в крепление желтого снегоступа. Видя это, Питер вздыхает, сгибается вдвое, высвобождает из снега свою пару снегоступов – алюминиевых, рамно-сеточных.

– Гляньте-ка, колибри какая! – радуется третий, указывая вбок.

Там, куда устремлен его палец, нет ничего, кроме снега. Встревоженные, его спутники озабоченно переглядываются. Питер, покачив головой, опускает взгляд под ноги.

– Я и не знал, что тут, в Сьеррах, колибри водятся. Ну и красота! – продолжает третий, но тут же неуверенно смотрит на Брайана. – Ведь *водятся* же, да?

– Ну, – тянет Брайан, – на самом деле, по-моему, водятся. Но...

– Но сейчас, Джо, рядом ни одной нет, – заканчивает за него Питер.

– Надо же, – вздыхает Джо, не сводя глаз со снега. – Я мог бы поклясться, что...

Питер, глядя на Брайана, жалостливо морщится.

– Может, преломление света вон там, на холмике, – озадаченно продолжает Джо. – А-а, ладно.

Брайан встает, продевает руки в лямки компактного синего рюкзака, сходит с валуна на снег, наклоняется, поправляя крепления.

– Идем, Джо. Чепуха это все, – говорит он и поворачивается к Питеру. – Прекрасный весенний снег, кстати.

– Ага, если ты – растреклятый белый медведь, – откликается Питер.

Брайан качает головой. В его серебристых солнцезащитных очках отражается то снег, то Питер.

– Сейчас лучшее время для подъемов сюда. Поехал бы с нами в январе или в феврале, сам бы увидел.

– Лето! – возражает Питер, поднимая со снега высокий станковый рюкзак. – Лето – вот что я люблю больше всего на свете! Загар, цветы, прогулки без этих чертовых шлепанцев на ногах...

Взвалив ношу на спину, он торопливо, так что алюминий лязгает о гранит, делает шаг назад, чтоб удержать равновесие, неловко застегивает пряжку поясного ремня и смотрит на солнце. Времени – около полудня. Питер утирает лоб.

– Летом ты даже с нами больше не видишься, – напоминает ему Брайан. – Сколько это, четыре года уже?

– Время, – объясняет Питер. – Времени у меня совсем нет, это факт.

– Ага, кроме всей отпущенной жизни, – хмыкает Брайан.

В ответ Питер раздраженно хмурится и тоже сходит на снег. Оба поворачиваются к Джо. Тот, шурясь изо всех сил, по-прежнему вглядывается в сугроб.

– Эй, Джо! – окликает его Брайан.

Джо, вздрогнув, поднимает взгляд.

– В путь пора, помнишь?

– Ах да. Секунду.

Джо начинает готовиться к новому переходу.

Трое на снегоступах движутся дальше.

Брайан идет впереди. Ноги его на каждом шагу погружаются в снег едва ли не на фут. За ним аккуратно, след в след, а потому и в снегу практически не утопая, движется Джо. Питер на следы даже не смотрит: его снегоступы, рыхля снег, нередко соскальзывают влево, отчего он то и дело спотыкается.

Склон становится круче – настолько, что заслоняет от них отвесную скалу над головой. Все трое мокры от пота. Брайан, все чаще и чаще скользящий влево, останавливается, освобождается от снегоступов, приторачивает их к рюкзаку и снова сует руки в лямки. На правую руку он надевает перчатку и на ходу, скособочившись, опирается о склон кулаком.

Остановившись на том же месте, что и Брайан, Джо с Питером следуют его примеру. Затем Джо указывает вслед Брайану, пересекающему участок склона куда круче сорока пяти градусов.

– Невиданный трехногий зверь, обитатель холмов, – со смехом говорит Джо. – Невиданный зверь «снегоед».

Питер тоже лезет в рюкзак за перчаткой.

– Вот что нам мешало пойти там, вдоль деревьев, и обойтись без этого клятого траверса?

– Оттуда вид не так хорош.

Питер вздыхает. Джо, топчась по снегу, ждет, смотрит на Питера с любопытством. Питер мажет лицо маслом от солнечных ожогов, со лба его обильно струится пот, смесь пота с маслом на небритых щеках Питера блестит, будто зеркало.

– Мне только кажется или мы в самом деле выкладываемся на всю катушку? – говорит он.

– Еще как выкладываемся, – отвечает Джо. – Траверсы – штука нелегкая.

Оба смотрят вслед Брайану, приближающемуся к середине самой крутой части склона.

– И вы, ребята, лазаете по этим снегам *для забавы*? – изумляется Питер.

Джо молчит, а через какое-то время вздрагивает, точно очнувшись.

– Прости, – говорит он. – О чем мы с тобой толковали?

Питер, пожав плечами, оглядывает Джо самым пристальным образом.

– Ты о'кей? – спрашивает он, стиснув рукою в перчатке плечо Джо.

– Да, да. Просто... *забыл*. Опять!

- Любой иногда о чем-нибудь да забывает.
- Знаю, знаю.

Удрученно вздохнув, Джо направляется по следам Брайана. Питер идет за ним.

С высоты они кажутся крохотными пятнышками, единственными движущимися объектами на бескрайнем черно-белом просторе. Снег слепит белизной, защитные очки пускают в стороны зайчики. Путники утирают лбы, то и дело останавливаются передохнуть. Брайан уходит вперед, Питер заметно отстал. Джо, осторожно ступая по склону, полушепотом разговаривает сам с собой. Перчатки намокли, запястья покрылись браслетами льда. Внизу одинокие деревья лесополосы покачиваются на ветру, однако на склоне безветренно, жарко.

Склон делается положе, и вот они за отрогом. Брайан сбрасывает рюкзак, достает «пенку», усаживается на нее и сосредоточенно роется в рюкзаке. Вскоре его догоняет Джо.

– Уф! – отдувается он. – Нелегко был этот траверс.

– Не так уж и сложен, – возражает Брайан. – Разве что скучноват.

Проглотив с полдюжины «М&М», он машет рукой туда, где высится гребень хребта.

– Однако устал я от траверсов, это точно, – сознается он. – На хребет поднимусь, а там, по гребню, спущусь к перевалу.

Джо окидывает взглядом склон, ведущий на гребень.

– Ага, ну а мы с Питом двинемся прежним путем, вдоль отрога, и подойдем к перевалу мимо озера Дорис. Оттуда путь почти ровный.

– Верно. Но я все равно наверх.

– Ладно. Значит, встретимся на перевале.

Брайан меряет взглядом Джо.

– С тобой по пути ничего не случится?

– Разумеется, ничего.

Брайан надевает рюкзак, разворачивается, наклоняется вперед и неспешными длинными шагами карабкается наверх.

– Зверь вычужный, горбатый, косолапый, да-да, – негромко бормочет Джо, провожая товарища взглядом. – Улитка-великанша по снегу ползет, домик на спине несет... Йо-хо-хо, в горы, в горы, рам-ди-дам, рам-ди-дам-ди-дам...

Неторопливо, беспечно вышедший из-за поворота Питер бросает на снег «пенку», усаживается рядом с Джо. Дышит он тяжело, но со временем его дыхание выравнивается.

– А Брайан где?

– Наверх пошел.

– Нам тоже туда карабкаться?

– Думаю, мы с тобой дойдем до перевала и в обход, по тропе.

– Слава богу.

– Мимо озера Дорис.

– Знаменитого озера Дорис! – хмыкает Питер.

Джо укоризненно грозит ему пальцем.

– Там здорово, вот увидишь.

Джо с Питером идут дальше. Вскоре их дыхание достигает обычного ритма. По пути они пересекают лужок, притулившийся, будто терраса, к склону хребта. В снегу там и сям зияют проталины, так что путь их не слишком-то ровен.

– Ноги мерзнут, – жалуется Питер, идущий в полдюжине ярдов позади Джо.

– Там система охлаждения, – оглянувшись, откликается Джо. – Большая часть моей крови горяча – так горяча, что я могу держать снег в горсти и ладонь не замерзнет. А вот ступни охлаждены. Чтобы кровь в них остывала. По моим ощущениям, идеальное место – примерно возле коленей. Я живу там и прекрасно себя чувствую.

– А мои колени болят.

– Хм-м-м, – тянет Джо. – Да, тогда даже не знаю, что тебе и посоветовать...

Долгую паузу заполняет только хруст снега да скрип башмаков о снегоступы. Наконец Питер вновь открывает рот.

– Понять не могу, отчего так устал. Всю зиму ведь в баскетбол гонял, будто проклятый.

– В горах не так ровно, как на баскетбольной площадке.

Джо шагает чуть быстрее, чем Питер, и мало-помалу уходит вперед. На ходу он смотрит влево, на заросшую лесом долину, но, пару раз поскользнувшись, устремляет взгляд вперед, под ноги. Дыхание с хрипом рвется из горла. Утирая от пота лоб, Джо немзыкально дудит себе под нос какой-то мотивчик, а после переходит на что-то вроде монотонной речевки, с каждым шагом, на каждом выдохе бормоча:

– Зверь выючный... зверь выючный... зверь выючный...

Его снегоступы с хрустом крушат крохотные хребты и пики сверкающих ноздреватых сугробов. Ослепительно-белый свет пробивается под оправу солнцезащитных очков. Джо останавливается, поправляет очки, покончив с этим, поднимает взгляд выше. Впереди, в пяти-шести дюжинах ярдов, виднеется дерево. Взяв курс на него, Джо идет дальше.

Вскоре он приближается к дереву, разглядывает старый, корявый горный можжевельник, ветвистый, не слишком-то и высокий. Вокруг деревца чернеет россыпь можжевелевой хвои; каждая иголочка слегка погружена в снег – в собственное, отдельное гнездышко. Раз пять, не меньше, открывает Джо рот, бормочет:

– Шипо... листо... как? – покачивает головой, подступает к деревцу, гладит его ладонью. – Даже не знаю, кто же ты есть...

Склонившись к дереву, он едва не касается ствола кончиком носа. Кора шелушится, отстает от ствола, точно пергаментно-тонкие листы теста фило. Внезапно Джо заключает находку в объятия.

– Де-е-ер-рево, – говорит он. – Де-е-е-ер-рево-о-о...

За повторением этого слова и застает его Питер, шумно, натужно отдувающийся на ходу. Обойдя деревце, Джо указывает вниз, на небольшую горную котловину, выемку в склоне хребта.

– А вот и озеро Дорис, – со смехом поясняет он.

Питер безучастно глядит на кружок ровного снега посреди котловины.

– Ну, это – феномен, в основном летний, – говорит Джо.

Питер, поджав губы, кивает.

– Зато перевалом любуйся хоть круглый год, – утешает его Джо, указывая на запад.

К западу от котловины с озерцом гребень хребта, частокол черных пиков, возвышающихся над снегами, будто ныряет вниз, образуя глубокое, симметричное U, практически правильный полукруг, путь ледника, от края до края залитый синью неба. Джо улыбается.

– Рокбаунд Пасс. Подобного зрелища в жизни не забудешь. И Брайан, кажется, уже там. Пойду наверх, к нему.

Свернув на запад, Джо огибает озеро с краю, и вот перед ним склон, ведущий наверх, напрямик к перевалу. Слой снега на склоне тонок, пластик снегоступов то и дело скрежещет об обнаженный гранит. Идет Джо быстро, широким шагом, стараясь поглубже дышать. Наконец склон выравнивается, открывая вид на седловину перевала. Дующий в лицо ветер крепчает на каждом шагу, а на самом перевале достигает просто-таки ураганной силы. Рубашка на груди

становится холодной, как лед, глаза слезятся, взмокшее от пота лицо сразу же обсыхает. Брайан – наверху, спускается к седловине с северной стороны. Его пронзительный крик ветер пронесет мимо ушей. Сбросив рюкзак, Джо вращает руками, разминает плечи, простирает руки к западу. Вот он и здесь, на перевале.

Внизу, на западе, простирается округлая чаша цирка, вырытого тем же ледником, что высек в хребте перевал. Снега на склонах цирка почти нет, огромные гранитные «ярусы» поблескивают в лучах солнца. Вдоль долины, тянувшейся от цирка к западу, белеет цепочка плоских, как блюда, пятнышек – горных озер. К расплывающемуся, дрожащему в солнечном мареве горизонту уходят шеренги хребтов высотой пониже.

Впадина озера Дорис за спиной Джо заслоняет собою глубокую долину, оставленную их троицей позади. Стоит Джо повернуться к западу, ветер вновь яростно хлещет в лицо. На седловину перевала спрыгивает одолевший спуск Брайан, и Джо встречает товарища радостным улюлюканьем.

– Опять тут ветрено! – сообщает он.

– Тут, на перевале, всегда ветрено, – откликается Брайан.

Освободившись от рюкзака, он тоже выпускает торжествующий вой, подходит к Джо, оглядывается вокруг.

– Знаешь, около года назад я, было дело, думал, что нам никогда больше сюда не попасть, – говорит он, от души хлопая Джо по спине. – И как же я рад, что ты здесь!

– Я тоже, – кивает Джо. – Я тоже.

Тут их нагоняет Питер.

– Глянь-ка, – обращается к нему Брайан, махнув рукою на запад. – Ну, разве не чудо?

Питер окидывает взглядом цирк, кивает, снимает рюкзак и усаживается за камень, пряча от ветра.

– Холодно, – жалуется он, дрожащими пальцами расстегивая рюкзак.

– Так надень свитер, – резко отвечает Брайан, – да съешь что-нибудь.

Джо, сбросив с ног снегоступы, прогуливается по перевалу, отходит от Брайана с Питером. Обнаженный камень, растрескавшийся рыжевато-бурый гранит, оброс клочьями лишайников – красных, черных, зеленых. Присев на корточки, Джо пристально осматривает разлом, подбирает треугольный, плоский осколок камня и швыряет его на запад. Камень, описав длинную дугу в воздухе, падает вниз.

Брайан с Питером обедают, прислонившись спинами к валуну, защищающему обоих от ветра. Там, где они устроились, довольно тепло. Брайан поглощает сыр, отрезая ломтик за ломтиком от большого бруска. Питер разворачивает на коленях тортилью, сдабривает ее арахисовым маслом из пластиковой тубы, а поверх арахисового поливает стружкой масла растительного.

Брайан, глядя на этакий кулинарный изыск, скептически щурится.

– С виду – дерьмо дерьмом, – замечает он.

– Пища есть пища, – парирует Питер. – Я думал, ты у нас – главный прагматик.

– Это точно, однако ж...

Питер уписывает тортилью за обе щеки. Брайан трудится над бруском сыра.

– Как тебе сегодняшняя прогулка? – спрашивает он.

– Читал я, будто снегоступы придуманы индейцами с Равнин, для ровной местности, – отвечает Питер, откусывая еще кусок. А в горах эти траверсы... эти траверсы – просто жуть.

– Помнится, раньше тебе здесь нравилось.

– Так то было летом.

– А сейчас еще лучше: наверху, кроме нас, ни души. Иди себе по снежку, куда пожелаешь.

– Да, подобные мысли я за тобой уже замечал. Но мне на снегу не нравится. Слишком уж много работы.

– «Работы», – пренебрежительно усмехается Брайан. – Похоже, старые добрые юридические кабинеты здорово извращают представление о работе.

Питер раздраженно вгрызается в тортлию. Похоже, он не на шутку обижен. Оба продолжают обед. До ушей их доносится очередная немзыкальная нескладушка в исполнении Джо.

– Кстати о завихах в голове, – нарушает молчание Питер.

– Ага. Приглядываешь за ним?

– Вроде как да. Только не знаю, что делать, когда он... отключается.

Брайан откидывается назад, выглядывает из-за валуна.

– Эй, Джо! – орет он. – Иди обедать!

Услышав Брайана, Джо на глазах у обоих вздрагивает, однако, неуверенно оглядевшись, вновь принимается за игру с камешками.

– Опять отрубился, – констатирует Брайан.

– Ну, так пришлось-то ему каково, – напоминает Питер. – Вот до чего доктора эти парня довели.

– Не доктора – *катастрофа*. Доктора ему жизнь спасли. Видел бы ты его в госпитале... Еще лет десять-двадцать тому назад быть бы ему овощем после такой-то травмы. Я, как увидел – ну, думаю: все. Не жилец.

– Да понимаю я, понимаю. Сквозь лобовое стекло пролететь – это...

– Однако ты не в курсе, *что* с ним проделали.

– И что ж с ним такое проделали?

– Стимулировали, как они выразились, «аксональные спрутинги» в местах разрыва нейронных связей – то есть, по сути сказать, новый мозг ему вырастили!

– *Вырастили?*

– Ага! Не весь, разумеется – часть. Разорванные связи и все такое. Как луч у морской звезды, понимаешь?

– Нет. Но тебе на слово верю, – отвечает Питер, снова выглянув из-за валуна и отыскав взглядом Джо. – Бр-р-р... надеюсь, они ему все, что нужно, назад отрастили. А то вдруг забудется в очередной раз, да и шагнет с обрыва!

– Не-е-е, насколько я понимаю, он просто иногда забывает человеческую речь. Мозг ведь не сразу в порядок себя приводит. Тем более здесь-то, сейчас, разницы никакой нет, – объясняет Брайан и снова откидывается назад. – Эй, ДЖО! ЕДА СТЫНЕТ!

– Еще как есть, – возражает Питер. – Вот, скажем, забыл он слово «обрыв». Само понятие, концепцию обрыва забыл и про себя думает: а пойду-ка я вниз, к озеру... и здрасте-пожалуйста, в пропасть летит.

– Нет, – успокаивает его Брайан, – это не так устроено. Понятиям язык и слова ни к чему.

– Что? – удивляется Питер. – Понятиям слова ни к чему? Шутишь, наверное? Я-то думал, это Джо у нас чокнутый...

– Нет, серьезно, – отвечает Брайан. Его обычная сдержанность быстро сменяется оживлением. – Понимаешь, чувственное восприятие уже есть акт мышления, а концепция – способ понимания, трактовки воспринятого. Одним словом, для того чтоб не шагнуть вниз с обрыва, этого хватит без всяких слов.

Несмотря на последнее заверение, он вновь оборачивается назад. За спиной его стоит Джо, кивающий, словно во всем соглашаясь с ним.

– Да, язык – это контактные линзы, – говорит Джо.

Питер с Брайаном озадаченно переглядываются.

– Контактные линзы позади глазных яблок, а сделаны они из стекла слов. Цвет достигает этих линз и отсеивается, отражается в нужном уголке мозга – скажем, в уголке «камень» или в уголке «дерево».

Питер с Брайаном переваривают услышанное.

– Стало быть, ты свои контактные линзы потерял? – рискует предположить Брайан.

Джо смотрит на него с благодарностью.

– Ну да! Вроде того.

– Так что же у тебя теперь в голове?

Джо пожимает печами.

– Хотел бы я сам это знать. Чувствую...

Облечь мысль в слова стоит ему немалых трудов.

– Чувствую: что-то не так. Может, у меня в такие моменты другой язык появляется, но в этом я не уверен. Все вокруг неправильным кажется... одни цвета, а больше ничего. Слова исчезают куда-то, понимаешь?

Брайан с невольной улыбкой качает головой.

– Хм-м-м, – глубокомысленно мычит Питер. – Похоже, нелегко тебе будет водительские права назад получить...

Все трое хохочут.

Брайан, поднявшись на ноги, прячет в рюкзак пластиковые пакеты.

– Готовы по хребту прогуляться? – спрашивает он спутников.

– Да подожди ты секунду, – откликается Питер, – мы сюда только что добрались. Отчего бы подольше не отдохнуть? Сам говорил: этот перевал – главная цель похода, а мы здесь пробыли всего полчаса.

– Дольше, – возражает Брайан.

– Все равно мало. Я устал!

– Сегодня мы одолели от силы четыре мили, – раздраженно напоминает Брайан. – Всем одинаково трудно пришлось. А теперь можно целых полдня идти вдоль хребта – здорово же!

Питер с шипением втягивает воздух сквозь сжатые зубы, задерживает дыхание, однако, решив промолчать, тоже принимается запихивать в рюкзак пакеты.

Наконец они готовы покинуть перевал. Рюкзаки и снегоступы у каждого за спиной. Брайан в последний раз поправляет поясной ремень, Питер окидывает взглядом предстоящий подъем, а Джо смотрит вниз, любясь огромной чашей из снега и камня на западе. Миновавшее зенит солнце полыхает вовсю. Тень облака, пересекая цирк, спешит к путникам, скачком взлетает на западный склон перевала, ненадолго накрывает их трою.

– Смотрите! – кричит Джо, указывая на склон хребта, спускающийся к перевалу с юга.

Брайан с Питером поворачивают головы и видят...

Коричневое пятно... Пара рогов, ноги, мелькающие в быстром беге, перестук упавшего со склона камня вдали...

– Снежный баран! – восклицает Брайан. – Ух ты!

С этим он поспешно устремляется поперек седловины, к югу, то и дело поглядывая наверх.

– Вон он! Опять! Идемте!

Джо с Питером спешат за ним.

– Нет, ребята, не догоните вы эту тварь ни за что, – пророчит Питер.

Подъем, ведущий на юг, неровен, сплошь в валунах, так что по пути наверх приходится то и дело петлять из стороны в сторону, от одного островка снега к другому. Все трое цепля-

ются за скальные выступы, за трещины в камне, с трудом преодолевают уступы высотой по пояс. Брайан рвется вперед, Питер держится сзади. Джо с Брайаном переключаются, обмениваясь впечатлениями о встрече со снежным бараном.

Чем ближе к гребню хребта, тем положе, легче подъем. Наконец Брайан и Джо взбираются на самый верх. Усыпанный щебнем, двадцати, а то и двадцати пяти футов в ширину, гребень практически горизонтален, но вид на юг загораживает. Брайан с Джо спешат туда, где уклон достигает высшей точки. Десяток шагов – и вдруг южная часть хребта открывается перед ними на мили вперед.

Оба останавливаются, смотрят во все глаза. Хребет пологими волнами тянется вдаль, к высокому пику, за пиком круто идет на спуск и вновь поднимается, и так – вверх-вниз, вверх-вниз – теряется в бескрайнем лабиринте черных скал. С востока крутой заснеженный склон ведет ко дну параллельной хребту долины. На западе грозно высятся голые, безжизненные зубья гор, чередующихся с углублениями котловин.

Хребет рассекает все это великолепие надвое, поднимается к небу выше всего, что только видно вокруг. Джо легонько постукивает по твердому камню носком башмака.

– Ископаемые кости. Спинной хребет одного из первых жителей земли, – говорит он.

– Кажется, я еще вижу того барана, – откликается Брайан, указывая вдаль. – А где у нас Питер?

Появляется Питер. Лицо его потемнело, осунулось. Споткнувшись о камень, он чудом не падает с ног, а подойдя к Джо с Брайаном, звучно швыряет о землю рюкзак.

– Глупо все это, – говорит он. – Мне отдохнуть нужно.

– Здесь, видишь ли, лагеря не разбить, – язвительно отвечает Брайан, указывая на россыпи щебня у собственных ног.

– Плевать, – откликается Питер и усаживается поблизости.

– После обеда мы идем всего час, – напоминает ему Брайан, – и стараемся подобраться поближе к тому барану!

– Устал я, – упрямо твердит Питер. – Устал и без отдыха не могу.

– Что-то быстро ты уставать стал!

Не на шутку разозленные, оба умолкают.

– Ребята, – мягко говорит Джо, – вот грызетесь вы то и дело – это да.

Молчание затягивается. Брайан с Питером отворачиваются друг от друга.

Джо указывает вниз, туда, где гребень хребта впереди идет на снижение. Там относительно ровно: гранитные плиты, а между ними – песок.

– Отчего бы не встать лагерем вон там? Мы с Брайаном рюкзаки сбросим и еще прогуляемся вдоль хребта. А Пит пусть отдохнет и, может, костер чуть попозже организует. Если хвороста сумеет найти.

С этим и Брайан, и Питер согласны. Все трое спускаются к будущему лагерю, в удобную седловинку.

Двое идут вверх. Одолеть пологий подъем не составляет труда, и вот они снова на гребне, на неровной тропе, усеянной осколками камня. Молнии и лед превратили голые скалы под ногами в мелкий щебень. Среди черного гранита там и сям возвышаются желтовато-бурые выступы, окруженные кольцами каменной крошки. Путники дивятся на эрратические валуны, словно бы покоящиеся на гребне хребта с тех самых времен, как он поднялся к небу, прыгают с камня на камень, поводят освобожденными от груза плечами. В очередной раз углядев вдалеке барана, Брайан указывает вперед.

– О! Видишь? – восклицает он.

– Еще бы, – отзывается Джо, но на барана не смотрит.

Заметив это, Брайан досадливо хмыкает.

Долина с востока темнеет, укрытая тенью хребта. В полудюжине ярдов за Брайаном Джо, прыгая с ровного на ровное, бубнит нараспев:

– Назови то, назови се, назови... назови-и-и... Ну и идея! Вот у меня на ногах три мозоли. Ту, что на левой пятке, я Амосом назвал.

Тут он умолкает, взбираясь на гранитный уступ по плечо высотой.

– А ту, что на правой, назвал Горбуном. А потом стер еще правую щиколотку спереди, и эту мозоль окрестил Ахиллом. И теперь, когда я их чувствую, это не боль, а что-то вроде шутики. Нытье в пятках, – продолжает он, шумно переводя дух, – будто приветы, приветы на каждом шагу: привет, Джо, это Амос; привет, Джо, Горбун здесь... Изумительно! Так мне, пожалуй, и башмаки ни к чему. Надо бы снять их!

– Не стоит. Лучше оставь, – без тени улыбки советует Брайан.

Джо улыбается от уха до уха.

Путь становится круче, гребень хребта сужается. Оба замедляют шаг, идут осторожнее. Россыпи щебня сменяются огромными щербатыми скальными выступами. Дальше приходится двигаться на всех четырех, оседлав хребет, точно лошадь: левая нога упирается в восточный склон, правая – в западный. Оба склона, особенно тот, что с запада, круто обрываются вниз. Западный, самый отвесный, блестит в лучах солнца, словно покрыт позолотой. Джо гладит ладонью стену обрыва.

Вскоре гребень снова становится шире, дальше вполне можно идти. Под ногами опять хрустит щебень. Угловатые, хрупкие пластинки камня сплошь поросли лишайником.

– Прекрасный гранит, – говорит Джо.

– Не гранит – диорит, – поправляет его Брайан. – Диорит, или габбро. Состоит из полевого шпата и еще кое-каких минералов более темного цвета.

– Э-э, ты мне голову не морочь, – откликается Джо. – Гранит помню, и хватит с меня. Вдобавок, эта штука была гранитом задолго до того, как геологи начали давать камням имена, и нечего им с именами такие шутики шутить.

Умолкнув, он приглядывается к камню поближе.

– Хотя... габбро, габбро... а что, пожалуй, мне это слово по вкусу.

Оба петляют среди валунов, взбираются на уступы. Под ноги им подворачивается глыба кварца, возвышающаяся над черным гранитом. Камень сплошь в трещинах, будто по вершине его ударили исполинской кувалдой.

– Розовый кварц, – поясняет Брайан и идет дальше.

Джо смотрит на глыбу кварца, разинув рот, опускается на колени, подбирает пару осколков, разглядывает их во все глаза, но тут замечает, что Брайан уходит вперед.

– Эх, знать бы мне все на свете, – поднимаясь, говорит он себе самому.

И вот они на вершине. Все вокруг – много ниже. Джо останавливается рядом с Брайаном. Оба молчат, замерев в считанных дюймах один от другого. К югу хребет понижается, а затем снова идет на подъем, к тому самому скальному лабиринту, которым они любовались, только-только поднявшись на гребень. Куда ни глянь, всюду горы, тянутся вдаль, разбегаются во все стороны света, каждый румб компаса украшают белые складки снегов. Не считая вольного ветра, все вокруг неподвижно.

– Интересно, куда тот баран подевался? – нарушает молчание Брайан.

Двое путников сидят на вершине горы. Порывшись в грудке камней, Брайан извлекает на свет ржавую жестяную коробку.

– Ага! Не иначе баран нам подсказку оставил! – говорит он, извлекая из коробки клочок бумаги. – Имя свое вот тут написал, а зовут его... хм... Диана Хантер.

– Чушь собачья! – возмущается Джо. – Какое же это имя? Дай-ка взглянуть.

С этим он выхватывает коробку из рук Брайана, жестяная крышка отваливается, и целый вихрь клочков бумаги – штук десять, а то и двадцать, – подхваченный ветром, летит на восток. Джо достает из коробки листок, застрявший на дне.

– Роберт Спенсер, – читает он вслух, – 20 июля, 2014 год. Так это все имена... память о людях, поднявшихся сюда и решивших увековечить это достижение.

Брайан хохочет.

– Да кому же подобное взбрдет в голову? Ведь до этого пика пешком дойти можно, – со смехом поясняет он.

– Наверное, надо бы собрать, сколько удастся, – неуверенно говорит Джо, взглянув вниз с отвесного склона вершины.

– Зачем? Ты же не сотрешь им памяти о восхождении, хоть все листки растеряй.

– Откуда нам знать, – возражает Джо и сам же смеется над собственными опасениями. – А вдруг? Подумать только: двадцать человек изо всех уголков Соединенных Штатов разом лишаются воспоминаний об этом пике! Раз – и... будто ветром все выдуло из головы. И до свидания...

С этим он машет рукой на восток. Оба смолкают. Ветер свистит в ушах. Над головой проносятся облака. Солнце склоняется к горизонту. Вскоре Джо нарушает молчание, горячо бормочет о чем-то, машет руками, а Брайан слушает друга, глядя облакам вслед.

– Ты, Джозеф, все равно, что родился заново, – наконец говорит он.

Джо, склонив голову на сторону, умолкает. Оба сидят, смотрят вдаль. Мало-помалу воздух становится холоднее.

– Ястреб, – негромко говорит Брайан.

Джо вслед за ним провожает взглядом темное пятнышко, вознесенное в небо воздушным потоком, струящимся вверх от хребта.

– Это тот самый баран, – возражает Джо. – Баран-оборотень.

– Да нет, даже движется по-другому.

– А я говорю, он.

Пятнышко, свернув к ветру, поднимается выше и выше, кружит, парит над миром, едва шевеля крыльями. Поддерживаемое восходящим потоком, оно на миг повисает над исполинским лабиринтом скал... и вдруг устремляется вниз, несется к земле куда быстрее падающего камня и исчезает за частоколом острых вершин.

– Ястреб, – выдыхает Джо. – Яс-стреб... с-с-спикировал...

Оба переглядываются.

– Туда-то мы завтра и пойдем, – говорит Брайан.

Устали оба так, что ноги не гнутся. Скользя вниз по снежным просторам, с каждым шагом одолевая по пять, а то и по десять футов, путники быстро добираются до лагеря. Идут как во сне: левой... правой... левой... правой... благо, что спуск несложен.

– А что же с тем снежным бараном? – спрашивает Джо. – Я ведь даже следов его ни разу не разглядел.

– Может, это была просто галлюцинация. Общая, – предполагает Брайан. – Как оно там у медиков называется...

– Симбиотический психоз.

– Ну и названьице...

Недолгая пауза: оба на прямых ногах, точно лыжники, съезжают с крутого снежного увала.

– Надеюсь, Пит позаботился костер развести. Дьявольский холод там, наверху.

– Особенность психического ландшафта, – говорит Джо, вновь затеявая беседу с самим собой. – Ну, разумеется, отчего нет? Выглядел он примерно так, как я и ожидал, это уж точно. Неудивительно, что я путаю все на свете. Ты, вероятно, увидел мою мимолетную мысль, бежавшую на волю, в пустыню гор. Ну да, снежный баран...

Вскоре впереди, далеко внизу, среди скал, показывается седловинка, где оба оставили Питера. На дне ее мерцает желтая искорка.

Джо с Брайаном режут от восторга.

– Огонь! ОГОНЬ!

Спустившись к песчаной россыпи среди высоких гранитных уступов, они приветствуют Питера и со всем проворством смертельно изголодавшихся бросаются к рюкзакам. Достав котелок, Джо доверху набивает его снегом и усаживается с Питером рядом.

– Долго же вас, ребята, не было, – замечает Питер. – Как там баран? Нашли?

Джо отрицательно качает головой.

– Нет, баран ястребом обернулся, – поясняет он, сдвигая котелок туда, где пламя повыше, и расшнуровывая башмаки. – Но как я рад, что ты костер сумел развести! Жуткое, небось, дело – на таком-то ветру.

– Да и с дровами тут не очень, – добавляет Питер. – Но я отыскал засохшее дерево чутьчку ниже.

Джо хмурится, тычет прутиком пылающий сук.

– Можжевельник, – весьма довольный собой, говорит он. – Хорошее дерево.

Появляется Брайан. На нем стеганный пуховик, стеганные пуховые штаны и стеганные пуховые сапоги-«чуни». Питер мрачно молчит. Джо, взглянув на него, снова хмурится, с трудом поднимается, идет к рюкзаку, достает чуни, возвращается к костру и продолжает расшнуровывать башмаки. На его побелевших, сморщенных ступнях алеют мозоли.

– Скверно выглядят, – говорит Питер.

– Ничего страшного.

Жадно опорожнив котелок с растаявшим снегом, Джо набивает посудину новой порцией, возвращает ее на костер и натягивает чуни.

Все трое молча смотрят в огонь.

– Ребята, а помните, как вы в гостиной нашей квартиры бороться затеяли? – спрашивает Джо.

– Еще бы не помнить! Все бока тогда об этот ковер ободрали!

– И лампу разбили, хотя она так и так не работала...

– А после тобой овладело боевое безумие! – со смехом восклицает Брайан. – Безумие берсерка! И ты мне ухо чуть не отгрыз!

Все трое хохочут, и Питер, кивнув, улыбается, смущенный, но в то же время очевидно гордый собой.

– Пит тогда победил, – напоминает Джо.

– Это точно, – подтверждает Брайан. – Прижал меня лопатками к коврику... в данном случае к обычному, не к борцовскому. Маньяки всюду побеждают...

Питер тяжеловесно, солидно кивает, изображая официальное одобрение.

– Но вот сегодня мне бы тебя не победить, – признает он. – Совсем я из сил выбился. Не мое это, наверное, – прогулки по горам да ночлег на снегу.

– В те времена у тебя сил хватало, – уверяет его Брайан. – А сегодня ты, надо сказать, преодолел крайне нелегкий маршрут. Если честно, немногие из знакомых рискнули бы с нами пойти.

– А как же Джо? Он ведь большую часть прошлого года на спине провалялся.

– Да, но сейчас-то – вон, жмет вперед, как психованный!

– Психом я раньше был! – протестует Джо.

Все трое снова хохочут. Брайан сыплет в котелок макароны и усаживается на камень рядом с Питером, чтоб без труда дотянуться до варева. Оба заводят разговор о студенческих временах, когда все трое жили сообща. Заслушавшись, Джо улыбается и едва не опрокидывает свой котелок. Друзья раздражаются возмущенными криками.

– Джозеф, – говорит Питер, – вот эта черная штука – котелок, а эта, желтая – огонь. Постарайся запомнить.

Джо улыбается шире прежнего. Вечерний бриз, подхватывая поднимающийся над котелками пар, несет его на восток.

Трое сидят у костра. Джо не спеша поднимается, осторожно идет к рюкзаку, разворачивает подстилку, достает спальный мешок, выпрямляется. Над западным горизонтом мерцает Венера. Темнеет. Старые друзья за спиной смеются над очередной репликой Питера.

На востоке небо усыпано звездами, хотя часть его еще светла, нежно-лазорева. В ушах негромко посвистывает ветер. Джо поднимает с земли камень, пристально вглядывается в него.

– Камень, – говорит он, сжимает камень в кулаке, грозит им Венере, запускает его ввысь. – Камень!

С этим он устремляет взгляд вдоль горного гребня: *черные шипы драконьего хребта взламывают белизну и лазурь*, точно сознание, вынырывающее из хаоса, сплошной чередой тянутся вдаль...

– Эй, Джозеф! Раззява безмозглый!

– На землю вернись!

– И пригляди за своим котелком, пока он костер нам не загасил!

Джо, улыбаясь, идет к куче хвороста, подбрасывает в огонь дров, и желтое пламя, разгоня сумрак, взвивается ввысь, к вечернему небу.

## До того, как я проснусь

*Перевод Д. Старкова*

А потом он проснулся, и все это оказалось попросту сновидением.

Во сне Эбернети стоял на гребне хребта, круто обрывавшегося вниз. С хребта к ледниковому бассейну с небольшим озерцом – кобальтовым посредине, аквамариновым по краям – спускался длинный, отлогий язык каменной осыпи. Там и сям среди каменных просторов зеленели, точно газоны перед особняками сурков, яркие заплатки травянистых лугов. Деревьев нигде вокруг не имелось. Студеный воздух казался изрядно разреженным. Хребты гор тянулись вдаль на многие мили, и, несмотря на полную неподвижность пейзажа, во всем, в каждой мелочи, чувствовался колоссальный, немыслимого масштаба размах, словно порыв ветра всколыхнул в этом месте самую ткань бытия.

– Проснись же, чтоб тебе провалиться, – рявкнул кто-то.

От сильного толчка в грудь Эбернети кубарем покатился вниз по каменистому склону, увлекая за собой небольшую лавину, и...

Вокруг белели стены просторного зала. Повсюду, порой штабелями по пять-шесть ярусов, стояли аквариумы и террариумы самых разных размеров, и каждый из них служил спальней какому-нибудь животному – обезьянке, крысе, собаке, кошке, поросенку, черепахе, дельфину...

– Нет, – пролепетал Эбернети, пятясь назад. – Не надо, пожалуйста...

В зал вошел человек с густой бородой.

– Давай-давай, просыпайся, – бесцеремонно велел он. – Просыпайся, Фред, за работу пора. Работать, работать как можно усерднее, иначе надежды нет. Начнешь отрубаться – не поддавайся, держись!

Схватив Эбернети за плечи, бородач усадил его на ящик с белками.

– Слушай же! – заорал он. – Мы спим! Спим и видим сны!

– И слава богу, – откликнулся Эбернети.

– Не торопись! В то же время мы бодрствуем.

– Не верю.

– Еще как веришь!

С этим бородач швырнул в грудь Эбернети огромным рулоном графленой бумаги для самописца. Упав на пол, рулон развернулся. Бумагу сплошь покрывали какие-то черные заколючки.

– На нотную запись похоже. На партитуру, – безучастно заметил Эбернети.

– Да, Фред! Да! Очень удачно подмечено! – заорал бородач. – Это – симфония, исполняемая нашим мозгом! Вот скрипки жалобно ноют – это мы, мы, наше сознание, – пылко заговорил он, страдальчески сморщившись и крепко, обеими руками рванув себя за бороду. – И вдруг мелодия ниже, ниже, и – да, да, вот он, блаженный сон! А дальше, в ночи, призрачные валторны, гобои и альты тихонько вплетают в фон басовой темы собственные импровизации, тянут и тянут, пока вновь не заноят во весь голос скрипки... да, Фред, прекрасная, прекрасная аналогия!

– Спасибо, – поблагодарил его Эбернети, – только зачем так орать? Я – вот он, рядом.

– Ну, так *проснись* же, – зло зарычал бородач. – Не можешь, а? Попался? Играешь ту же новую песню, что и мы все! Гляди сюда: «быстрый сон» без разбору мешается с глубоким сном и с бодрствованием, превращая нас всех в лунатиков. В лунатиков, грезящих на ходу!

Взглянув в недра его бороды, Эбернети обнаружил, что все его зубы – резцы. Испуганный, он подался к двери, сорвался с места, со всех ног бросился прочь. Бородач, прыгнув следом, обхватил его, оба кубарем покатались по полу, и...

И Эбернети проснулся.

– Ага! – удовлетворенно воскликнул бородач, Уинстон, администратор их лаборатории. – Теперь-то веришь? – с горечью продолжал он, потирая ушибленный локоть. – Наверное, все это на стенах надо бы написать. Если все разом начнем отрубаться, ведь даже не вспомним, как да что было раньше. И вот тогда всему настанет конец.

– Где мы? – спросил Эбернети.

– В лаборатории, Фред, – устало, но терпеливо ответил Уинстон. – Теперь мы живем здесь. Помнишь?

Эбернети огляделся вокруг. Лаборатория. Огромная, прекрасно освещена. Пол устилают листы графленой бумаги с кривыми эхоэнцефалограмм. Из стен торчат черные плиты рабочих столов, заваленных самыми разными деталями и оборудованием. В углу – клетка с парой крыс.

Эбернети яростно замотал головой. Теперь-то он вспомнил все. Сейчас он бодрствует, однако тот самый сон оказался правдой. Застонав, он подошел к небольшому окну и выглянул наружу. Над простирившимся внизу городом поднимался дым.

– Где Джилл?

Уинстон только пожал плечами. Оба поспешили к двери в дальнем углу лаборатории, в комнатку с множеством коек и одеял. Нет, и здесь ни души.

– Наверное, снова домой отправилась, – предположил Эбернети.

Уинстон встревоженно, досадливо зашипел.

– Я на территории поищу, – сказал он, – а ты лучше езжай домой. Да осторожнее там!

Но Фред уже выскочил за дверь.

Во многих местах улицы от края до края перегораживали остовы разбитых автомобилей, однако со дня последней поездки домой в городе мало что изменилось, и до дому Эбернети добрался довольно быстро. Пригороды сплошь затянуло удушливым маревом, вонявшим, точно дым из мусоросжигателя. Заправщик на АЗС, державшийся за рычаг помпы, проводил Эбернети изумленным взглядом и помахал ему вслед. Махать в ответ Эбернети не стал. Во время одной из подобных вылазок он едва не нарвался на удар ножом и повторять сей опыт отнюдь не желал.

Машину он остановил только у обочины напротив собственного дома. Вернее, развалин дома. Дом их сгорел подчистую: выше груди поднимался лишь закопченный дымоход.

Выбравшись из старенькой «картины», Эбернети неспешно пересек лужайку, испятнанную черными кляксами отпечатков подошв. Откуда-то издали доносился неумолчный собачий лай.

Джилл оказалась на кухне – переставляла с места на место закопченную утварь, негромко напевая что-то себе под нос. Услышав шаги Эбернети, остановившегося прямо перед ней, в боковом дворике, она подняла на него взгляд, стрельнула глазами вправо-влево.

– Вот ты и дома, – радостно сказала она. – Как день прошел?

– Поедем-ка, Джилл, поужинаем где-нибудь, – откликнулся Эбернети.

– Но я ведь уже готовлю!

Переступив через остатки кухонной стены, Эбернети подхватил ее под локоть.

– Да, вижу. Но ты об этом не беспокойся. Поехали!

– Ну и ну! – воскликнула Джилл, глядя его по щеке измазанной сажей ладонью. – Да ты всерьез настроен на романтический вечер!

Эбернети изо всех сил постарался растянуть уголки рта пошире.

– И еще как! Идем.

Мягко увлекая Джилл за собой, он вывел ее из дома, провел через лужайку и усадил в «картину».

– Какая галантность, – заметила Джилл, вновь стрельнув глазками.

Усевшись в машину, Эбернети включил зажигание.

– Но, Фред, – спохватилась жена, – а как же Джефф с Фран?

Эбернети отвернулся к боковому окну.

– Им нянька приглашена, – после недолгой паузы отвечал он.

Джилл, сдвинув брови, кивнула и откинулась на спинку сиденья. Ее пухлые щеки украшали полосы сажи.

– Ах, – вздохнула она, – мне так хотелось выбраться куда-нибудь на ужин!

– Мне тоже, – подтвердил Эбернети... и вдруг зевнул. Веки его разом отяжелели. – О нет! Только не это!

До боли закусив губу, он хлестнул тыльной стороной ладони о баранку руля... и снова зевнул.

– Нет! – заорал он.

Джилл, вздрогнув от неожиданности, вжалась спиной в пассажирскую дверцу. Эбернети резко вывернул руль, объезжая какую-то азиатку, усевшуюся прямо посреди дороги.

– Я должен добраться до лаборатории! – крикнул он.

Опустив противосолнечный козырек над водительским местом, Эбернети извлек из кармана куртки ручку и кое-как нацарапал на пластике: «В лабораторию». Тем временем Джилл не сводила с него изумленного взгляда.

– Я не виновата, – прошептала она.

Эбернети вывел машину на автостраду. Все тридцать полос оказались свободны, и он до отказа вдавил педаль в пол.

– В лабораторию, в лабораторию, в лабораторию, – нараспев затянул он.

Впереди на дорогу приземлился летучий полицейский автомобиль. Убрав крылья, патрульная машина рванулась вдаль. Эбернети последовал было за ней, но тут автострада свернула, сузилась, и они вновь оказались на уровне улиц. Зарычав от досады, Эбернети впился зубами в ладонь у основания большого пальца. Джилл еще крепче прижалась спиной к дверце. На глаза ее навернулись слезы.

– Я ничего не могла с собой поделать, – сказала она. – Понимаешь, он полюбил меня. А я полюбила его.

Эбернети гнал «картину» вперед, вдоль объятых пожарами улиц. Ему очень, просто позарез нужно было на запад... однако машина вела себя как-то странно. Вскоре они выехали на трехполосную авеню, туда, где домов – раз, два и обчелся. Проезжую часть перегораживала поперек громада «Боинга 747» с надломленными, сложившимися вперед, к носу, крыльями. Сквозь его фюзеляж был прорублен высокий туннель, чтоб самолет не мешал движению. Дежуривший рядом коп со свистком, в белых перчатках, махнул им рукой, веля проезжать. На приборной доске тревожно замигала лампочка аварийного индикатора. «В лабораторию»... Эбернети судорожно всхлипнул.

– Но я же дороги не знаю!

Его сестра, Джилл, села прямо, устремив взгляд вперед.

– Налево, – негромко подсказала она.

Эбернети ударил по рычагу переключателя направлений, и машина послушно свернула на трассу, уходящую влево. Там, впереди, Эбернети поджидали другие развилки, но Джилл всякий раз подсказывала, куда нужно свернуть. Вдруг в зеркале заднего вида за клубился дым...

И Эбернети проснулся. Уинстон утер ватным тампоном капельку крови, алевшую на его плече.

– Стимуляторы и боль, – вполголоса пояснил Уинстон.

В стенах лаборатории кипела работа. Около дюжины лаборантов, постдоков и аспирантов у рабочих столов трудились, не покладая рук.

– Как Джилл? – спросил Эбернети.

– Прекрасно, прекрасно. Только сейчас она спит. Послушай, Фред, я нашел способ противостоять сну сравнительно долгое время. Стимуляторы и боль. Регулярные инъекции бензедрина плюс резкая боль каждый час или около, причиняемая любым способом, какой покажется самым удобным. Подхлестнутый всем этим, метаболизм не позволяет сознанию соскальзывать в сон наяву. Я пробовал и продержался шесть часов кряду: голова ясная, сна ни в одном глазу. Теперь этим методом пользуются все.

Эбернети окинул взглядом спящих туда-сюда лаборантов.

– Да уж, вижу, – сказал он, чувствуя, как быстро, отчетливо бьется сердце в груди.

– Ну, что же, за дело! – пылко воскликнул Уинстон. – Не будем терять времени даром!

Эбернети поднялся на ноги, и Уинстон созвал всех на непродолжительное совещание. Чувствуя на себе множество взглядов, Эбернети собрался с мыслями.

– Разум, мышление есть совокупность электрохимических процессов. Поскольку данному эффекту подвержены все до единого, полагаю, химическими аспектами мы вполне можем пренебречь, целиком сосредоточившись на электрических. Если все дело в изменении окружающих нас полей... кто-нибудь в курсе, сколько гауссов сейчас магнитное поле? А какова интенсивность космического излучения?

Но все только молча таращились на него.

– Ладно, – решил Эбернети. – Подключимся к мониторам орбитальной станции, а остальное проделаем здесь.

С этим он принялся за работу, и остальные тоже взялись за дело. Каждый час в лаборатории появлялся Уинстон с букетом шприцов в руке.

– Спицы, спицы, спицы-ы-ы! – с ухмылкой распевал он во весь голос.

Эбернети он уговорил капать на внутреннюю сторону предплечья соляной кислотой. Этот метод помогал Эбернети лучше, чем всем остальным. Целый день, а затем и другой он работал без остановки, на крекерах да воде, и сам вкалывал себе очередную дозу бензедрина, когда Уинстона не оказывалось под рукой. А вот ассистенты начали соскальзывать в сон наяву после первой же пары часов, несмотря на инъекции и кислоту. Розданных Эбернети заданий так никто и не выполнил. Один из лаборантов в качестве результата успешного эксперимента принес ему пару крыс, превращенных в сиамских близнецов, сращенных лапа к лапе, и как ни колотил его Эбернети, привести заснувшего в чувство не удалось.

В итоге он выполнил всю работу сам. Труд занял не один день. Лаборанты попадали с ног либо разбрелись кто куда, и Эбернети расхаживал от стола к столу, шурил саднящие, покрасневшие глаза, вглядываясь то в экран осциллографа, то в строки на дисплее компьютера. Никогда в жизни он еще так не устал. Казалось, он сдает экзамены по дисциплине, в которой ничего не смыслит, в которой просто ни в зуб ногой, но работы Эбернети не оставлял. Между фазами бодрствования и «быстрого сна» ЭЭГ демонстрировали осцилляции, каких он никогда прежде не наблюдал, причем странные колебания кривых очевидно коррелировали с флуктуациями магнитного поля.

Некоторые, открыв глаза, непрерывно моргая, сидели на полу, пытались заговаривать друг с другом или с Эбернети. Как-то раз ему пришлось успокаивать Уинстона: тот, лежа посреди зала, неудержимо рыдал:

– Нам никогда не избавиться от этого сна наяву, Фред, никогда, никогда...

Вколотый Эбернети бензедрин на Уинстона не действовал.

Так он и продолжал работу. Вспомнив о бензедрине, вкалывал себе очередную дозу и продолжал. Со временем выяснилось, что работать он может даже сидя за огромным столом, на ежегодной встрече бывших одноклассников... только устал – словами не описать.

И вот, наконец, он вроде бы понял, выяснил все, что хотел. Остальные (в том числе – Джилл) лежали в комнате с койками, а то и прямо в лаборатории, на полу. Взгляды их бегали из стороны в сторону, веки подрагивали.

– Мы проходим скопление космической пыли и газов, плюс некие энергетические поля. Все константы сейчас изменены. Данные с орбитальной станции весьма наглядно свидетельствуют о входе Земли в область сильных электромагнитных возмущений. Густота пыли, интенсивность космического излучения, гравитационные волны... Возможно, сейчас мы наблюдаем последствия взрыва сверхновой где-то невдалеке. За небом кто-нибудь в последнее время наблюдения вел? Ладно, неважно. Как бы там ни было, измененное магнитное поле, перестраивая паттерны электрической активности мозга, вводит нас в состояние, подобное так называемому «быстрому сну». Разумеется, мозг бунтует, что есть сил стремится вернуться в состояние бодрствования, однако поле оттесняет его назад. Вот потому мы и... так сказать, осциллируем.

С негромким, усталым смешком он взобрался на один из лабораторных столов – хоть немного вздремнуть.

Проснувшись, Эбернети отряхнул от пыли лабораторный халат, послуживший ему одеялом. Грунтовая дорога, на которой он спал, оказалась темна и безлюдна. Небеса укрывал плотный слой облаков.

Снова двинувшись в путь, Эбернети миновал кучку хижин, построенных на тропический манер – по сути, открытых всем ветрам навесов под кровлей из пальмовых листьев. Хижины были пусты. На горизонте мерцало неяркое зарево.

Вскоре он вышел к берегу моря. От берега тянулся вдаль невысокий мыс, сложенный из многих тысяч деревянных кресел – вернее, обломков кресел, грудой сваленных в воду. На оконечности мыса кто-то сидел, удобно устроившись в большом кресле с уцелевшим сиденьем, спинкой и одним из двух подлокотников.

Эбернети не без опаски ступил на россыпи перекладин и точеных деревянных цилиндров и, переступая с подлокотника на фанерное донце сиденья, двинулся к незнакомцу. Серое море вокруг было необычайно спокойно: зеркальные волны накрывали скользкое дерево у кромки прибоя и совершенно бесшумно откатывались назад. С моря неспешно тянулись к берегу полупрозрачные, невесомые пряди тумана – нижних слоев плотного облачного покрова. В воздухе веяло солью и сыростью. Передернувшись, Эбернети наступил на следующий обломок посереженного, источенного стихиями дерева.

Сидящий повернулся к нему. Это был Уинстон.

– Фред!

В предутренней тишине его оклик казался невероятно громким. Подойдя к нему, Эбернети отыскал под ногами спинку кресла, пристроил ее понадежнее и сел рядом.

– Как ты?

– В порядке, – кивнув, отвечал Эбернети.

Вблизи от воды явственно слышался тихий плеск и шипенье прибоя. Набегавшие на берег волны сделались чуточку выше, курились едва различимым сквозь сумрак серым туманом.

– Уинстон, – прохрипел он и кашлянул, прочищая горло. – Что же стряслось?

– Мы спим. Грезим наяву.

– Да, но что это значит?

Уинстон дико, безумно захохотал.

– Новая эмерджентная фаза сна, промежуточный сон, скоротечный сон, ромбоэнцефалический сон, мостомозжечковый сон, активированный сон, парадоксальный сон, – саркастически улыбаясь, заговорил он. – Что это – никому не известно.

– Но ведь столько исследований...

– Да уж, исследований – целая уйма! И как же я верил в них, как работал для них, ради всех этих жалких домыслов, варьирующихся от абсурдных до смехотворных! Сновидения упорядочивают в памяти жизненный опыт, стимулируют чувства в темноте, готовят нас к буду-

щему, реализуя подсознательные модели ожидаемых событий, упражняют глубинное зрение... Бог ты мой! Одним словом, Фред, ничего мы об этом не знаем. Ни о сне, ни о сновидениях, и, если вдуматься, о сознании, о состоянии бодрствования – тоже. Сам посуди: что нам обо всем этом известно? Мы жили – бодрствовали, спали, видели сны, и все три состояния для нас в равной мере загадка. Теперь мы переживаем все три состояния одновременно, и что? Задача хоть немного усложнилась?

Эбернети скovyрнул песчинку со сломанной ножки кресла.

– Я почти все время чувствую себя абсолютно нормально, – заметил он. – Просто странности раз за разом вокруг происходят.

– Твоя ЭЭГ демонстрирует необычный паттерн, – в «научной» манере заговорил Уильям. – Много больше альфа- и бета-волн, чем у всех остальных. Как будто ты изо всех сил стремишься проснуться.

– Да, вполне похоже.

Оба умолкли, глядя на волны прибоя, лижущие мокрые обломки кресел. Волнение унималось. Вдали от берега, на грани видимости, показался большой прогулочный катер, дрейфующий по течению.

– Итак, расскажи же, что тебе удалось выяснить, – нарушил молчание Уинстон.

Эбернети описал ему данные, полученные с орбитальной станции, и результаты собственных экспериментов.

– Значит, конца этому ждать не приходится, – кивнул Уинстон, дослушав его до конца.

– Ну, разве что выйдем из этого поля. Или... у меня возникла идея устройства, носимого на голове и воссоздающего прежнее магнитное поле.

– Идея, явившаяся во сне?

– Да.

Уинстон захохотал.

– Фред, я так привык верить в рациональное мышление! Сновидения есть некий побочный эффект электрической активности нервной системы, результат случайных электрических импульсов, возникающих в отделах мозга, отвечающих за эмоции, восприятие и воспоминания... казалось бы, в высшей степени логично! Упражнение глубинного зрения! Господи, как все это узколобо, как мелкотравчато! Отчего мы не полагали, будто сновидения – величайшие путешествия в будущее, в иные вселенные, в мир, много реальнее нашего собственного! Порой, в последние секунды перед пробуждением, они именно таковыми и выглядели – словно бы мы живем в мире, переполненном смыслами так, что вот-вот взорвется... и вот, пожалуйста! Вот, пожалуйста, Фред, это наш шанс, единственный шанс, как его ни назови. *Сам плывет в руки*. От идеи к символу... а люди приспособятся, адаптируются, ведь это один из главных наших талантов!

– Не нравится мне все это, – сказал Эбернети. – Лично я никогда собственных снов не любил.

На это Уинстон лишь рассмеялся.

– Говорят, сознание, бодрствование тоже некогда оказалось точно таким же качественным скачком! Бегали люди на четвереньках, словно собаки, и вот однажды – может, из-за того, что Земля прошла сквозь ударную волну от взрыва какой-то далекой сверхновой – встал один из них на ноги, в изумлении огляделся вокруг и сказал: «*Я есть!*»

– Вот сюрприз так сюрприз, – буркнул Эбернети.

– А на сей раз каждый из нас проснулся поутру, не прекращая грезить, огляделся вокруг и спросил: «*Что есть я?*», – с радостным смехом продолжил Уинстон. – Да, конца этому ждать не приходится, однако я приспособлюсь... Гляди, а катер-то, похоже, тонет!

С полдюжины человек на борту катера никак не могли сбросить за борт надувной спасательный плот. Наконец после множества неудач они все же спустили плот на воду, забрались на него и заработали веслами, уходя от берега прочь, в туман.

– Страшно все это, – сказал Эбернети...

И проснулся. Лаборатория выглядела – хуже некуда. Пару рабочих столов очистили от оборудования, дабы освободить место для шахматных досок, и около полдюжины лаборантов играли между собою вслепую, с завязанными глазами, отчаянно споря, где тут какая доска.

Эбернети отправился в кабинет Уинстона за бензедрином, но бензедрин, увы, кончился.

– Как долго я спал? – зарычал он, схватив за плечо одного из своих постдоков.

Глаза постдока бегали из стороны в сторону.

– Шестнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рому! – пропел он в ответ.

Тогда Эбернети двинулся в импровизированную спальню и обнаружил там Джилл. Без одежды, в одних только синих трусах, она курила, а один из аспирантов перышком щекотал ей соски.

– О, привет, Фред, – заговорила она, глядя ему прямо в глаза. – Где ты пропадал?

– Разговаривал с Уинстоном, – с трудом проговорил он в ответ. – Ты его не видела?

– Конечно, видела! Вот только не помню, когда...

Эбернети вновь взялся за дело один. Помогать никто не пожелал. Очистив от хлама одну из смежных с лабораторией комнат, он перетащил туда необходимое оборудование, запер в шкафу три огромные коробки крекеров, и сам, чувствуя дремоту, запирался в комнате на замок. Однажды он полтора месяца провел в Китае и только после проснулся. Бывало, он пробуждался в своей старенькой «картине», обнимая руль, будто единственного на свете друга... а впрочем, все друзья его действительно куда-то исчезли. Проснувшись, он всякий раз возвращался назад и опять приступал к работе. Ухитряясь бодрствовать по несколько часов кряду, сделать он успел многое. Электромагниты работали превосходно, необходимые поля создавали исправно, и идея генератора магнитных полей, странного вида проволочного шлема для ношения на голове, выглядела все более многообещающей.

Устал Эбернети так, что моргнуть – и то больно. Всякий раз, как его клонило в сон, он капал на руку соляной кислотой. Ожоги покрыли предплечье сплошь, но ни один из них больше не болел. Пробуждаясь, Эбернети чувствовал себя так, точно не спал уж которые сутки. Дважды на помощь приходили его аспиранты, за что он проникся к ним искренней благодарностью. Время от времени навещавший его Уинстон только смеялся над ним. От усталости все валилось из рук. Однажды он, взявшись за лабораторный телефон, попробовал дозвониться до родителей, но все линии оказались заняты, а радио трещало статикой на всех волнах, кроме единственной станции, транслировавшей в эфир только эпизоды «Одинокого рейнджера», и Эбернети вернулся к работе. Питался крекерами и трудился, трудился, трудился...

Как-то раз, под вечер, он вышел на террасу лабораторного кафетерия, малость передохнуть. Солнце клонилось к закату, в лицо дул студеный, пронизывающий ветер, и Эбернети жадно, полной грудью вдохнул свежий воздух, напоенный янтарным солнечным светом. Далеко внизу дымились остатки города, ветер свистел в ушах, и Эбернети понимал, что он жив, и сознает, что он жив, а весь мир заполняет собою нечто очень и очень важное...

Следом за ним, на носках, странно, всепонимающе улыбаясь, по-прежнему без одежды, если не брать в расчет синих трусов, на террасу вышла и Джилл. Вдоль тела ее волнами, кошачьими лапками по воде, бежали мурашки, сила ее обаяния, недоступной, загадочной женской красоты, внушала невольный страх.

Остановившись в полдюжине футов один от другого, оба они устремили взгляды вниз, в сторону бывшего своего дома. Вся округа в том месте полыхала огнем.

– Как больно, – заговорила Джилл, указывая на пожары. – Как жаль, что нам с тобою хватало мужества жить настоящей, полной жизнью только во сне...

– А я думал, мы прекрасно живем, – возразил Эбернети. – Я думал, живем мы на всю катушку и радуемся жизни каждую минуту бодрствования.

Джилл с той же всепонимающей улыбкой повернулась к нему.

– Похоже, ты всерьез так и думаешь.

– Да! – горячо откликнулся Эбернети. – Именно! Именно, что всерьез!

С этим он направился назад, в лабораторию, чтобы, вернувшись к работе, забыть обо всем остальном...

И проснулся. Вокруг вновь возвышались горы – тот самый высокогорный цирк. Теперь, стоя куда выше, он смог разглядеть еще две крохотные гранитные котловины, еще два озерца рядом с тем, первым, кобальтово-аквамариновым. Карабкаясь по россыпям осколков гранита, он двигался к перевалу. Камни пестрели яркими кляксами разноцветных лишайников. Студеный ветер высушивал пот, заливавший лицо, лучше всякого полотенца. В горах царил мир и покой, такой мир и покой, что...

– Проснись!

Уинстон... а он, Эбернети – в стенах своей комнатки (высокие гребни гор вдалеке, пыльная зелень леса внизу), вжавшийся спиной в угол. Поднявшись, он подошел к шкафу с керамиками, по уши накачался найденным в шприцах на полу бензедрином (снег... пятна лишайников...), а затем вышел в лабораторию и врубил пожарную сигнализацию.

Сирена привлекла всеобщее внимание – тем более, что заглушить ее удалось только через пару минут. К тому времени, как Эбернети с ней справился, в ушах звенело без умолку.

– Устройство готово к пробам, – сказал он, обращаясь разом ко всем.

В группе насчитывалось человек около двадцати: одни опрятны, ухожены, будто сию минуту из церкви, другие немывы, оборваны. Сбоку, в сторонке, пристроилась Джилл.

– Что готово?! – заорал Уинстон, стремительно протолкавшись вперед.

– Устройство для избавления от грез наяву, – устало пояснил Эбернети. – Готово к испытаниям.

– Ну, раз готово, давай испытывать, о'кей? – неспешно проговорил Уинстон.

Эбернети выволок в лабораторию шлемы и прочее оборудование, расставил по местам трансмиттеры, запитал электромагниты и генераторы поля, а закончив, поднялся и утер покрывшийся испариной лоб.

– Вот это оно и есть? – спросил Уинстон.

Эбернети кивнул.

Уинстон повертел в руках один из проволоочных шлемов.

– Не нравится мне эта штука! – объявил он и швырнул шлемом о стену.

Эбернети в изумлении разинул рот. Один из лаборантов с силой пихнул электромагниты, и Эбернети, охваченный внезапной яростью, подхватил с пола обломок дерева и с маху ударил им варвара. Кое-кто из ассистентов поспешил ему на подмогу, но остальные, подступив вплотную, принялись ломать, крушить оборудование. Завязалась колоссальная драка. Эбернети самозабвенно махал дубиной, испытывая невероятное удовольствие всякий раз, как удар попадет в цель. От мелких брызг крови в воздухе сделалось солоно на губах. Его труд, его изобретение разносят на части!

– Из-за тебя, из-за тебя это все! – завизжала Джилл, швырнув в него одним из шлемов.

Сбив с ног подобравшегося к электромагнитам, Эбернети вскинул импровизированную дубину, намереваясь покончить с ним раз навсегда, но тут в руке Уинстона ярко блеснул металл, сталь хирургического скальпеля. Взмахнув оружием снизу вверх, точно бейсбольный питчер, Уинстон глубоко, по самую рукоять, вонзил клинок Эбернети в диафрагму. Отшат-

нувшись назад, Эбернети потянул носом воздух и обнаружил, что дышать – легче легкого, что с ним все о'кей, никто его не заколол.

Развернувшись, он пустился бежать, ринулся на террасу. Уинстон, и Джилл, и все остальные, спотыкаясь, падая, рванулись за ним по пятам. Внутренний двор неведомо отчего поднялся куда выше прежнего, оставив горящий, дымящийся город далеко внизу. К самому сердцу города спускалась широкая лестница невероятной длины. Ночь выдалась ветреной, беззвездной, снизу слышались крики людей. На краю террасы Эбернети оглянулся и увидел в какой-то паре шагов от себя искаженные яростью лица преследователей.

– Нет! – вскрикнул он.

Преследователи бросились на него. Отбиваясь, Эбернети взмахнул дубиной – раз, и другой, и третий, а после развернулся к каменным ступеням лестницы, сам не понимая, как, споткнулся, кувырком полетел вниз, вниз, вниз, и...

И проснулся. Проснулся, по-прежнему падая в бездну.

## Черный воздух

*Перевод Д. Старкова*

Лиссабонскую гавань покидали торжественно, при полном параде. Полотнища стягов трещали на свежем ветру, грозно сверкала в лучах ослепительно-белого солнца медь кулеврин, священники на звучной, певучей латыни повторяли во всеуслышанье благословение Папы, на носовых и кормовых надстройках теснились солдаты в броне, матросы, по-паучьи облепившие ванты, махали почтенным жителям города, оставившим дневные труды, чтоб выйти на вершины холмов и оттуда, с насквозь пропеченных солнцем дорог, полюбоваться бесчисленным множеством собравшихся в гавани кораблей – ведь то была Армада, Наисчастливейшая Непобедимая Армада, отправлявшаяся подчинить воле Господа еретиков-англичан. Второго такого отплытия еще не бывало и не будет вовек.

К несчастью, после выхода в море ветер целый месяц кряду дул с северо-востока, не меняя направления ни на румб, и на исходе этого месяца Армада придвинулась к Англии не более самого Иберийского полуострова. Мало этого: спеша исполнить военный заказ, португальские бондари изготовили множество предназначенных для Армады бочонков из «зеленого», сырого дерева, и к тому времени, как корабельные коки откупорили их, мясо внутри сгнило, а вода стухла. Пришлось Армаде тащиться в порт Ла-Корунья, где несколько сотен солдат и матросов, попрыгав за борт, добрались до испанского берега, а там их и след простыл. Еще несколько сотен умерли от болезней, и посему дон Алонсо Перес де Гусман эль Буэно, седьмой герцог Медина-Сидония и адмирал Армады, лежа на скорбном одре в каюте флагманского корабля, вынужден был прервать составление очередной ламентации в адрес Филиппа II, дабы отдать солдатам приказ отправиться за город и собрать там крестьян для пополнения ими команд кораблей.

Один из отрядов этих солдат завернул во францисканский монастырь невдалеке от Ла-Коруньи, где произвел немалое впечатление на мальчишек, состоявших при монастыре в услужении у монахов и ждавших возможности принять постриг самим. Монахам предложение солдат пришлось не по нраву, но воспрепятствовать им святые отцы не могли, и мальчишки, все до единого, отправились на флотскую службу.

Был среди тех мальчишек, немедля разведенных по разным кораблям, и Мануэль Карлос Агадир Тетуан, семнадцатилетний уроженец Марокко, сын жителей Западной Африки, захваченных в плен и обращенных в рабство арабами. За недолгую жизнь свою он успел повидать и прибрежный марокканский городок Тетуан, и Гибралтар, и Балеары, и Сицилию, и, наконец, попал в Лиссабон. Работал в полях, чистил конюшни, помогал вить канаты и ткать холсты, разносил еду да выпивку в тавернах, а после того, как мать умерла от оспы, а отец утонул, попрошайничал на улицах Ла-Коруньи, последнего порта, откуда отец ушел в плаванье, пока (ему тогда как раз сравнялось пятнадцать) один из францисканцев, споткнувшийся о Мануэля, спящего посреди переулка, наведя о нем справки, не приютил его в монастыре.

Без умолку хнычущего Мануэля отвели на борт «Ла Лавии», левантского галеона водоизмещением без малого в тысячу тонн. Здесь корабельный штурман, некто Лэр, взял его под опеку и повел вниз. Лэр был ирландцем, оставившим родину, главным образом ради совершенствования в собственном ремесле, но вдобавок из ненависти к забравшим в Ирландии власть англичанам, и при том настоящим гигантом: грудь – что у кабана, ручки – толщиной в нок рея. Увидев Мануэлево горе, он, человек в душе вовсе не злой, шлепнул его мозолистой лапщей по затылку и со странным акцентом, но без запинки заговорил с ним по-испански:

– Брось хныкать, парень! Мы идем воевать треклятых англичан, а как покорим их, святые отцы из твоего монастыря в аббаты, не меньше, тебя произведут! А до того дюжина английских девиц падет к твоим ногам, моля о прикосновении вот этих самых черных ладоней, можешь

не сомневаться. Давай-давай, кончай ныть. Сейчас койку тебе отведем, а как выйдем в море, и должность для тебя подыщем. Пожалуй, назначу-ка я тебя на грот-марс: наши черные – все марсовые хоть куда.

В дверь высотой не более половины своего роста Лэр проскользнул с ловкостью ласки, ввинчивающейся в крохотную норку в земле. Ладонь шириной в половину дверного проема увлекла Мануэля следом за штурманом, в полумрак. Охваченный ужасом, мальчишка едва не споткнулся на широких ступенях трапа, едва не упал на Лэра и лишь чудом сумел устоять на ногах. С полдюжины солдат далеко внизу громогласно захохотали над ним. Прежде Мануэль никогда не бывал на борту корабля крупнее сицилийских паташей<sup>5</sup>, а большую часть немалого опыта морских плаваний получил на каботажных каракках, и потому просторная палуба там, внизу, рассеянная на части желтыми солнечными лучами, проникавшими внутрь сквозь открытые порты, огромные, как церковные окна, сплошь загроможденная бочками, тюками сена, бухтами каната, не говоря уж о сотне человек, занятых делом, показалась ему настоящим дивом. Таких огромных залов, как тот, что лежал впереди, не было даже в монастыре!

– Храни меня святая Анна, – пробормотал он, не в силах поверить, что он вправду на корабле.

– Спускайся вниз, – ободряюще велел Лэр.

Однако в огромном зале их путь не закончился. Отсюда они спустились еще ниже, в душное, вчетверо меньшее помещение, освещенное неширокими веерами света, струившегося сквозь узкие прорези портов в обшивке.

– Вот здесь будешь спать, – сказал Лэр, указывая в один из темных углов у массивного дубового борта.

Лежавшие во мраке зашевелились, засверкали глазами, поднимая веки.

– Что, штурман, еще один из тех, кого нипочем в темноте не найдешь? – сухо, уныло проскрипел кто-то.

– Заткнись, Хуан. Гляди, парень: вот эти доски отделяют твоё место от остальных. Чтоб не катало тебя от борта к борту, когда выйдем в море.

– Чисто гроб – только крышкой сверху накрыться.

– Закрой пасть, Хуан.

Как только штурман указал его койку, Мануэль рухнул в нее ничком и снова заплакал. Для его роста ячейка оказалась коротковата, торчащие над палубой доски бортиков изрядно потрескались да поистерлись. Соседи спали либо толковали о чем-то друг с другом, не обращая на новенького никакого внимания. Горло сдавил шнурок медальона. Поправив его, Мануэль вспомнил о молитве.

Святой покровительницей Мануэля монахи назначили Анну, что доводилась матерью Деве Марии и, стало быть, родной бабкой самому Иисусу Христу. При Мануэле имелся небольшой деревянный медальон с ее образом, подарок аббата Алонсо. Сжав образок между пальцами, Мануэль устремил взгляд в крохотные коричневые точки – в глаза святой. «Прошу тебя, матушка Анна, – безмолвно взмолился он, – забери меня с этого корабля, унеси домой. Унеси меня домой, пожалуйста».

С этим Мануэль так крепко стиснул в руке образок, что выпуклый резной крест с обратной стороны медальона оставил след в виде багрового крестика и на его ладони. Много, много часов миновало, прежде чем он смог уснуть.

Два дня спустя Наисчастливейшая Непобедимая Армада покинула Ла-Корунью – на сей раз без стягов, без толп провожающих и даже без стелющегося по ветру дыма священного ладана... однако в тот день Господь ниспослал им западный ветер, и флотилия весьма неплохим ходом двинулась к северу. Шли корабли строем, изобретенным солдатами, строй-

---

<sup>5</sup> Паташ (patache) – небольшое посыльное судно.

ные фаланги их взбирались с волны на волну – впереди галеасы, посредине грузовые урки, а по бокам, на флангах, громадины галеонов. Тысячи парусов, поднятых на сотнях мачт, поражали воображение: казалось, над просторами лазурной равнины высится целая роща сказочных белых деревьев.

Мануэля эта картина потрясла ничуть не меньше, чем всех остальных. «Ла Лавия» несла на борту четыреста человек, а для управления кораблем одновременно требовалось всего тридцать, и посему все три сотни солдат любовались Армадой, собравшись на юте, а свободные от вахты и успевшие выспаться матросы толпились чуть ниже, на баке.

Матросская служба Мануэля оказалась проста. Вахту ему определили с левого борта, у миделя, там, где крепились левые шкоты парусов грот-мачты и огромных треугольных полотнищ латинского парусного вооружения фока. Мануэль помогал еще пятерым товарищам натягивать все эти тросы потуже или, наоборот, отпускать – смотря по указаниям Лэра. О заведении шкотов на утки и об узлах заботились остальные, так что весь труд Мануэля сводился к тому, чтоб тянуть шкот, когда велено. Судьба его могла обернуться куда как хуже, однако замыслы Лэра, намеревавшегося отправить Мануэля, подобно другим африканцам в команде, на марс, потерпели самое позорное поражение.

Нет, Лэр, разумеется, пробовал.

– Господь одарил вас, африканцев, головами, куда лучше наших приспособленными к высоте, чтоб по деревьям ловчее лазали, спасаясь от львов, верно я говорю?

Однако, вскарабкавшись следом за марокканцем по имени Абеддин по вантам на грот-марс, Мануэль оказался посреди жуткой, бескрайней бездны: низкие серые тучи едва не касались макушки, а далеко внизу, *прямо под ногами*, пенились волны, расшитые белыми росчерками кильватерных струй идущих впереди кораблей... и вынести всего этого он не сумел. И вцепился руками-ногами в леерную стойку грот-марса, да так, что оторвать его и с хохотом, с руганью спустить вниз удалось только пятером. Тогда Лэр с превеликим отвращением, однако не прилагая к тому особых усилий, отлупил его тростью и оттолкнул к левому борту у миделя.

– Должно быть, ты – просто сицилиец, подпаленный на солнце!

Вот так Мануэля и назначили шкотовым.

Несмотря на сей инцидент, с товарищами по команде он сдружился неплохо. Нет, не с солдатами, разумеется: солдаты держались с матросами грубо, заносчиво, а матросы во избежание ругани или зуботычин старались обходить их стороной. Таким образом, три четверти экипажа считали себя людьми иного сорта, оставаясь для прочих чужими. Посему матросы предпочитали свою компанию. Разношерстный экипаж собирали по всему Средиземноморью, и Мануэль, пусть даже новенький на борту, ничем не выделялся среди остальных. Объединяла матросов только общая враждебность к солдатам.

– Да этим героям даже острова Уайт не захватить, если мы их туда не доставим! – ворчал Хуан.

Первым делом Мануэль перезнакомился с товарищами по вахте, а затем и с соседями по койке. Свободно говоривший по-испански и по-португальски, неплохо знавший арабский, латынь, сицилийское и марокканское наречие, в своем углу нижней палубы полубака он мог разговаривать с кем пожелает. Марокканцы время от времени звали его в переводчики, и чаще всего это означало, что ему предстоит рассудить какой-нибудь спор. В подобных случаях сообразительный, проворный умом Мануэль нарочно «переводил» так, чтоб примирить спорщиков меж собой. Единственным чистокровным испанцем поблизости был тот самый Хуан, встретивший приведенного Лэром Мануэля язвительными замечаниями. Поболтать он любил, причем постоянно жаловался всем соседям на жизнь или пророчил недоброе.

– Я уже бился с *Эль Драко* там, в Вест-Индиях! – похвалялся он. – Наше счастье, если сумеем проскользнуть мимо этого дьявола. Хотя нет, не уйти нам от него, ни за что не уйти, попомните мое слово...

Товарищи Мануэля по вахте держались куда веселее, и работать либо упражняться с ними в матросском деле под зорким присмотром никому не дававшего спуска Лэра было одно удовольствие. Мануэля они звали то Марсовым, то Древолазом и постоянно вышучивали его уточные узлы, упорно сопротивлявшиеся быстрому роспуску. Неумение управляться с узлами стоило Мануэлю множества ударов Лэровой тростью, однако на борту имелись матросы гораздо хуже, и неприязни к нему штурман вроде бы не питал.

Постоянные жизненные перемены научили Мануэля приноравливаться к чему угодно, и вскоре матросские будни сделались для него чем-то вполне естественным. Разбуженный окриком Лэра или Пьетро, старшего над шкотовыми у миделя с левого борта, Мануэль мчался на батарейную палубу, где начинались владения солдат, а оттуда – к тому самому большому трапу, ведущему на свежий воздух. Только после этого он мог с уверенностью сказать, какое теперь время дня. Первую неделю возможность выбраться из полумрака нижних палуб под ясное небо, навстречу ветру и свежему воздуху, доставляла невероятное, невыразимое наслаждение, однако чем дальше Армада продвигалась на север, тем холодней становилось вокруг. Отстояв вахту, Мануэль с товарищами спешили на камбуз, где получали порцию сухарей, воды и вина. Порой коки резали нескольких коз или кур и варили похлебку, но чаще всего матросам доставались одни только сухари – сухари, не успевшие просохнуть и зачерстветь в бочках. Последнее обстоятельство без усталости проклинали все до единого.

– Морской сухарь – он лучше всего, когда тверд, как дерево, и источен червями, – пояснил Мануэлю Абеддин.

– Как же их тогда едят? – удивился Мануэль.

– Хочешь – стучи куском сухаря по столу, пока черви не выпадут, а хочешь – так, с червями, и ешь.

Все прочие захохотали, и Мануэль рассудил, что Абеддин, по всей вероятности, шутит, но... мало ли – а может, и нет?

– С души воротит от этой липкой дряни, – сказал Пьетро по-португальски, а Мануэль перевел его слова двум молчаливым африканцам, понимавшим только марокканский арабский, и, перейдя на испанский, согласился, что для желудка такая пища тяжеловата.

– Хуже всего, – заметил он, – что сверху все черствое, а изнутри – свежее, мягкое.

– Свежими да мягкими они отроду не бывают.

– Точно: мягкое – это черви.

Чем дольше продолжался поход, тем дружнее становились соседи по нижней палубе. Еще дальше к северу марокканцы начали ужасно мерзнуть. К тому времени, как они спускались в низы после вахты, их темная кожа покрывалась мурашками, точно скошенный луг – стерней, губы и ногти синели, а прежде чем уснуть, каждый из них битый час дрожал, трясся, стуча зубами, будто карнавальным плясун – кастаньетами. Вдобавок волны Атлантики становились все выше и выше, и матросов, вынужденных нацепить на себя всю одежду, какая у них имелась, ничем не прикрытых, не защищенных, болтало в койках, от доски до доски, из стороны в сторону. Со временем марокканцы, а за ними и все остальные обитатели нижней палубы полубака приноровились спать по трое в одной койке, по очереди перебираясь в середку и прижимаясь друг к другу, точно ложки. Таким образом, притиснуть спящего к перегородке качка, конечно, могла, но от края до края койки спящих уже не швыряло. Готовность Мануэля присоединиться к таким троицам, ложась у перегородки, сделала его всеобщим любимцем: все были согласны, что подушка из него – хоть куда.

Захворал он скорее всего из-за рук. Да, дух его смирился с крестовым походом на север в два счета, однако тело за духом не поспевало. Ежедневно нянчась с жесткими пеньковыми тро-сами, он здорово стер, ободрал ладони. Морская соль, занозы, утки шкотов и башмаки товарищей тоже оставили на руках немало отметин, так что под конец первой недели матросской службы ладони пришлось бинтовать полосами холста, оторванными от подола рубахи. Когда

Мануэля охватила горячка, ладони начали отзываться ноющей болью на каждый толчок сердца, и он рассудил, что сквозь них-то, через все эти раны да ссадины, хворь и проникла в нутро.

Вслед за ладонями взбунтовался желудок: в нем стало решительно невозможно хоть что-нибудь удержать. От одного вида сухарей и похлебки Мануэля выворачивало наизнанку. Горячка усилилась тоже. Ослабший, иссохший, мучимый неудержимым поносом, он только и делал, что торчал на носу «Ла Лавии».

– Сухарями отравился, не иначе, – сказал ему Хуан. – Совсем как я в Индиях. Вот что выходит, если сухари на хранение укладывать, не просушив. Они бы еще сырым тестом эти бочонки набили!

Соседи по койкам рассказали о Мануэлево́й хвори Лэру, и Лэр велел оттащить его в лазарет, устроенный на нижней палубе со стороны кормы, в просторном помещении, которое занедужившим приходилось делить с рудерпостом – огромным, гладко отполированным бревном, поднимавшимся из-под настила и уходившим вверх сквозь потолок. Здесь содержались серьезно больные. Уложенный на тюфяк, Мануэль тоже почувствовал себя хуже некуда: терзаемый тошнотой, он жутко перепугался царившего в лазарете запаха мертвечины. Лежавший на соседнем тюфяке пребывал в бесчувствии, перекатывался с боку на бок в такт качке. Пламя свечей в трех фонарях не столько освещало невысокое помещение лазарета, сколько наполняло его множеством пляшущих теней. Один из монахов-доминиканцев, брат Люсьен, дал ему горячей воды, утер лицо лоскутом ткани, а после недолгой беседы выслушал исповедь Мануэля. Конечно, исповедоваться надлежало только настоящему священнику, но ни того, ни другого сие нисколько не волновало. Корабельные попы лазарета не жаловали, служить предпочитали лишь перед солдатами да офицерами, а вот брат Люсьен славился тем, что охотно совершал богослужения и для матросов, отчего был среди них весьма популярен.

Горячка сделалась настолько скверной, что Мануэль не мог проглотить ни крошки. Шли дни, и, пробуждаясь, он обнаруживал рядом вовсе не тех, кто окружал его, когда он засыпал. Сомнений не оставалось: смерть его не за горами, и Мануэль вновь горько пожалел о том, что был поверстан на флотскую службу, в матросы Наисчастливейшей Непобедимой Армады.

– Зачем мы здесь? – хрипло спросил он брата Люсьена. – Отчего б не оставить англичан в покое? Пускай отправляются в ад, если им так угодно!

– Задача Армады – не только в сокрушении английских еретиков, – отвечал доминиканец, пристраивая свечу поближе к раскрытой книге, которую обычно прятал под рясой, – не Библии, какой-то другой, совсем небольшой, тоненькой.

Тени вокруг прынули вверх, заплясали на закопченных бимсах и досках над головами, рудерпост, проворачиваясь, закрипел о кожаную манжету в полу.

– Тем самым, – продолжал брат Люсьен, – Господь посылает нам испытание. Вот, слушай: «Жду я явления огня очищающего, жду пламенного омовения от шлака тщеты, от внешнего, от наносного, ибо в строгости, мне присущей, я – словно тот, кто испытует золото горнилом. Но когда будешь испытан ты, точно огнем, чистое золото души твоей, точно огонь, станет зримым; тогда дано будет тебе узреть Господа твоего, а видя его, узришь ты и светозарный истинный лик свой». Помни об этом и будь крепок духом. Вот, выпей воды – давай-давай, или хочешь Господа своего подвести? Это тоже часть испытания.

Мануэль выпил, и его тут же вырвало. Тело его стало не более чем огоньком, язычком пламени, заключенным в человеческую кожу и рвущимся наружу сквозь израненные ладони. Утратив счет дням, он забыл обо всех, кроме брата Люсьена да себя самого. Казалось, они остались вдвоем на всем белом свете.

– Я совсем не хотел покидать монастырь, – сознался он доминиканцу, – но и совсем не думал остаться там надолго. Подолгу я еще нигде не задерживался. Да, монастырь был мне домом, но я понимал, что дом мой не там. Настоящего дома я пока не нашел. Говорят, в Англии кругом лед... а я снег видел только раз в жизни, в Каталонских горах... отче, скажи: мы вер-

немся домой? Мне одного только хочется – в монастырь воротиться и стать святым отцом, как ты.

– Домой мы вернемся, непременно вернемся, а кем ты станешь – известно одному Господу. Не волнуйся, место для тебя у Него припасено, а пока – спи. Спи, засыпай.

К тому времени, как горячка пошла на убыль, ребра начали выпирать из-под кожи, будто пальцы сжатого кулака. Мануэль едва смог подняться. Из мрака явственно, словно воспоминание, проступило узкое лицо брата Люсьена.

– Попробуй-ка, съешь похлебки. Очевидно, Господь почел нужным оставить тебя здесь.

– Спасибо тебе за заступничество, святая Анна, – с трудом прохрипел Мануэль, жадно хлебая бульон. – Мне бы хотелось на место вернуться. К своим.

– Скоро вернешься. Потерпи еще малость.

Вскоре Мануэля вывели на палубу. Казалось, он не идет, а плывет, парит, держась за леера и леерные стойки. Лэр и товарищи по вахте встретили его с радостью. Всюду вокруг буйствовала синева: за бортом шипели волны, в небе, спеша на восток, теснились, толкались боками низкие облака, а сквозь прорехи меж ними тянулись книзу, вонзаясь пиками в воду, солнечные лучи. От вахты его освободили, однако Мануэль оставался на посту, у миделя с левого борта, покуда хватало сил. Жив... одолел хворь... в такое просто не верилось! Разумеется, поправился он не до конца – к примеру, ничего твердого, особенно сухарей, есть не мог и потому питался только вином да похлебкой. Вдобавок за время болезни он изрядно ослаб, и голова постоянно кружилась, однако на палубе, на ветру, ему, определенно, становилось все лучше и лучше, и Мануэль старался проводить снаружи как можно больше времени. Был он на палубе и в ту минуту, когда впереди впервые показались берега Англии. Солдаты возбужденно, восторженно завопили, указывая вперед, в сторону поднявшегося над горизонтом мыса Лизард, как назвал его Лэр. За время плавания Мануэль так привык к морю, что невысокая коса, торчащая из воды слева по носу, казалась чем-то противоестественным, чужим в морском царстве, как будто великий потоп едва-едва пошел на убыль и эти затопленные холмы, насквозь промокшие, покрытые зеленой, живой морской травой, поднялись над волнами всего минуту назад.

Вот она, Англия...

Спустя еще пару дней они впервые встретились с английскими кораблями. Куда быстрее испанских галеонов, однако гораздо меньшие, помешать движению Армады они могли бы не более, чем мухи – движению стада коров. Волны сделались круче и, следуя одна за другой много ближе, начали раскачивать «Ла Лавию» так, что Мануэлю с трудом удавалось устоять на ногах. Раз он здорово приложился головой о переборку, а еще как-то содрал с ладони коросту, пытаясь удержать равновесие среди этакой качки. Однажды утром, не в силах подняться, он остался лежать в полумраке нижней палубы полубака – счастье, что товарищи начали приносить ему миски с похлебкой. Так продолжалось довольно долго, и Мануэль снова встревожился: вдруг смерть его все же не за горами? И вот наконец вниз спустились Лэр с Люсьеном.

– Пора подниматься, – объявил Лэр. – До боя не больше часа, и ты тоже нужен. Мы подыскали тебе работу по силам.

– Всего-навсего фитили канонирам готовить, – пояснил брат Люсьен, помогая Мануэлю встать на ноги. – А Господь тебе в том поможет.

– Да, тут уж придется Господу расстараться, – заметил Мануэль.

И тут он обнаружил, что явственно видит души обоих, мерцающие над их головами, точно тройные узлы, трилистники из полупрозрачного пламени, вздымающегося кверху от корней волос и озаряющего черты лиц.

– Чистое золото души твоей, точно огонь, станет зримым, – вспомнил Мануэль.

– Тише, – сдвинув брови, велел ему доминиканец, и Мануэль понял: то, что читал брат Люсьен, – секрет.

Поднявшись на палубу, Мануэль заметил, что теперь может видеть и воздух, отчего-то окрасившийся алым. Казалось, все они – на дне океана алого воздуха, но в то же время на поверхности океана голубой воды. Выдыхаемый кем-либо, воздух темнел, клубился, точно пар из конских ноздрей в морозное утро... только не белесый, как положено пару, – малиновый. Мануэль так и замер, глядя вокруг, дивясь новым способностям, дарованным Господом его глазам.

– Сюда, – сказал Лэр, грубовато подталкивая его вперед, через палубу. – Вот эта бадейка с трутом – твоя. А это – фитиль, понятно?

Действительно, у борта стояла бадья, доверху полная свитого в тугие кольца плетеного шнура. Конец шнура, торчавший над краем бадьи, тлел, окрашивая воздух вокруг темным багрянцем.

– Фитиль, – кивнув, повторил Мануэль.

– Вот тебе нож. Режешь фитиль на куски вот такой примерно длины и поджигаешь их от того, который всегда при тебе. Зажженные фитили раздаешь подошедшим канонирам или сам им несешь, если покличут... да гляди, все зажженные фитили не раздай, сам без огня не останься. Понятно?

Снова кивнув в знак того, что все понял, Мануэль уселся на палубу рядом с бадьей. Головокружение не унималось. В считанных футах от него, выставив дуло за борт, в отворенный порт, возвышалась одна из самых больших пушек «Ла Лавии». Пушкарки появлению Мануэля заметно обрадовались. По ту сторону палубы, у миделя с левого борта, несли вахту его товарищи, шкотовые. Солдаты, выстроенные на юте и на баке, возбужденно кричали, сверкая на солнце, словно свежие устрицы. Сквозь пушечный порт виднелся кусочек английского берега.

– Гляди, парень, пальцы себе не обрежь, – предостерег Мануэля Лэр, подошедший взглянуть, как у него дела. – Видишь, вон там? Это – остров Уайт. Возьмем его в кольцо и наверняка захватим, и, опираясь на него, разовьем атаку. Такую силищу кораблей да солдат им с острова нипочем не выбить. По-моему, план – хоть куда.

Но планы планами, а на деле все обернулось иначе. Развернувшись в огромный полу-месяц из пяти отдельных фаланг, корабли Армады оцепили восточный берег острова Уайт. Однако, огибая остров, передовые галеасы столкнулись с необычайно, невиданно упорным сопротивлением со стороны англичан. Вдоль бортов кораблей расцвели белые облачка дыма, немедля окрасившегося алым, вокруг оглушительно загрохотало...

И тут из-за южной оконечности острова, прямо во фланг Армаде, выдвинулись корабли *Эль Драко*, и «Ла Лавия» вдруг оказалась в бою. Солдаты, взревев, выстрелили из аркебуз, а огромная пушка поблизости вместе с лафетом отскочила назад, бабахнув так, что Мануэля швырнуло о борт. После этого он почти перестал что-либо слышать. Между тем всем вокруг разом потребовались его фитили. Отсекая от шнура куски нужной длины, Мануэль прижимал их концы к концу горящего и раздувал, раздувал, пробуждал огонь к жизни алыми дуновениями. За ядрами, свистевшими в кровавом воздухе над головой, тянулись багровые шлейфы вроде кильватерных струй. Угрюмые канониры выхватывали фитили из его рук и опрометью мчались назад, к пушкам, уворачиваясь от грохочущих о палубу такельблоков. Огромные, точно грейпфруты, ядра с английских кораблей, со свистом летящие к «Ла Лавии» и проносящиеся мимо, Мануэль видел прекрасно... как и полупрозрачные трилистники пламени, бушующего, вздымающегося над головами людей выше прежнего.

Внезапно ядро, угодившее прямо в пушечный порт, сшибло пушку с лафета, а канониров расшвыряло по палубе. Вскочив на ноги, Мануэль с ужасом отметил, что трилистники пламени вокруг голов упавших угасли – теперь он отчетливо видел темя каждого, и каждый из них был всего лишь человеком, комком истерзанной плоти, распластанной по вспаханному ядром и лафетом доскам палубного настила. Всхлипнув, он бросился поднимать канонира, у которого всего-навсего текла кровь из ушей, но по плечам больно хлестнула трость Лэра.

– Режь фитили! О ребятах без тебя есть, кому позаботиться!

И Мануэль, несмотря на дрожь в пальцах, продолжил резать фитильный шнур на куски, отчаянно раздувая огонь. Вокруг грохотали пушки, пронзительно визжали ничем не защищенные от чугунного града солдаты на юте и баке, и алый воздух при каждом выстреле подергивался кровавой рябью.

Следующие несколько дней были ознаменованы полудюжиной подобных баталлий: Армаду теснили мимо острова Уайт, в Ла-Манш. Горячка никак не давала уснуть, и по ночам Мануэль помогал раненым соседям по нижней палубе – придерживал мечущихся в бреду, утирал испарину с их лиц, хотя сам чувствовал себя немногим лучше. С рассветом, съев сухари и выпив положенную чарку вина, он отправлялся к своей бадье, к фитилям, ждать очередной схватки. Самый большой галеон на левом фланге, «Ла Лавия» неизменно принимала на себя львиную долю натиска англичан. На третий день прежние товарищи Мануэля по вахте угодили под удар брам-рея, рухнувшего с грот-мачты и насмерть придавившего Ханана с Пьетро. Вопя от невыносимой душевной муки, Мануэль бросился к ним на помощь, отволокл оглушенного Хуана в низы и снова вернулся на палубу. Вокруг то и дело кто-нибудь падал с ног, но он как ни в чем не бывало носился сквозь застилающий взор алый туман, от пушки к пушке: изрядно повыбитые огнем неприятеля, каждый раз отряжать человека за фитилем канониры уже не могли. Когда бой подходил к концу, он ухаживал за ранеными в лазарете, превратившемся в сущее преддверие ада, и помогал сбрасывать за борт умерших, прохрипев над каждым телом короткую молитву за упокой души павшего, и не оставлял без заботы солдат, прятавшихся за фальшбортами, напрасно ожидая, когда же англичане подойдут на расстояние выстрела из аркебузы.

– Мануэль, фитиль! Мануэль, воды! Помоги, Мануэль! – только и слышалось на палубе... и Мануэль, подстегиваемый лихорадочным приливом сил, спешил на подмогу.

Как-то раз, в постоянной спешке, посреди яростной схватки, он едва не налетел на свою покровительницу, святую Анну, откуда ни возьмись появившуюся возле его бадьи.

– Бабушка! – в изумлении вскричал он. – Не место тебе тут! Здесь опасно!

– Ты помогаешь людям, вот я и пришла пособить тебе, – отвечала святая, указывая поверх пурпурной зыби в сторону одного из вражеских кораблей.

Над бортом корабля расцвело облачко дыма, а из облачка появилось, взвилось над водой пушечное ядро. Ядро Мануэль видел явственно, точно оливку, брошенную в него через комнату. Округлый черный шар, лениво вращаясь, приближался, становился все больше и больше, и Мануэлю сделалось ясно: ядро летит к нему, *прямо* к нему, так, что линия выстрела проходит точно сквозь его сердце.

– Э-э... преподобная Анна, – промямлил он, надеясь привлечь к сему внимание святой покровительницы.

Однако святая Анна и сама прекрасно все видела. Легонько коснувшись Мануэлевой лба, она вознеслась вверх, на грот-марс, мимо ничего не замечавших солдат. Косясь на нее, Мануэль не забывал поглядывать и за полетом приближавшегося ядра. Повинуясь прикосновению ее десницы, такелажный блок грота-рея рухнул вниз, столкнулся с летящим ядром. Сбитый с курса, чугунный шар врезался в палубу, где и застрял, до половины уйдя в толстые доски настила. Глядя на черную полусферу, Мануэль невольно разинул рот, но тут же поднял взгляд и помахал рукой святой Анне, а та, помахав в ответ, взвилась ввысь, в небеса, скрылась среди алых туч. Преклонив колени, Мануэль возблагодарил и ее, и пославшего ее на подмогу Иисуса, и вернулся к своим фитилям.

Спустя ночь или две – этого Мануэль точно сказать не мог, так как течение времени сделалось для него чем-то гибким, неуловимым, а главное, утратило всякий смысл – Армада бросила якорь на рейде Кале, близ фламандского берега. Впервые со дня отбытия из Ла-Коруньи на борту воцарился покой, качка утихла, и, вслушиваясь в ночь, Мануэль понял: весь этот

несмолкающий хор, все эти скрипы да треск – голос команды, не корабля. Быстро покончив с положенной порцией вина и воды, он двинулся вдоль нижней палубы, беседуя с ранеными и по возможности помогая им избавиться от заноз. Многие просили Мануэля к ним прикоснуться, так как его беготня сквозь самую гущу битвы не прошла незамеченной: еще бы – в этаким-то аду, да не получить ни царапины! В прикосновении он никому не отказывал, а кто пожелает, над теми читал и молитвы, а обойдя всех, отправился наверх. С юго-запада дул нежный бриз, «Ла Лавия» легко, невесомо покачивалась на волнах. Воздух впервые за целую неделю оказался чист и прозрачен, от алой пелены не осталось даже следа. Теперь Мануэль явственно видел и звезды над головой, и огоньки в глубине фламандского берега, мерцавшие наподобие звезд, упавших с неба и догорающих, доживающих жизнь на земле.

По палубе из стороны в сторону, заметно припадая на одну ногу, то и дело отклоняясь от привычного курса, чтоб обогнуть бреши в настиле, расхаживал Лэр.

– Лэр, тебя ранило? – спросил Мануэль.

Лэр только глухо рыкнул в ответ, и Мануэль двинулся рядом. Вскоре Лэр, остановившись, сказал:

– Говорят, ты теперь святой, потому что последние несколько дней носился по палубе так, точно вся стрельба по нам не страшнее обычного града, однако тебя даже ни разу не зацепило. А я так скажу: ты просто дурень, вот смерти и не боишься. Известное дело: дураки пляшут там, откуда ангелы бегут без оглядки... и это тоже часть наложенного на нас проклятия. Кто знает, что да как, и все делает верно, тот в итоге и попадает в беду... порой именно потому, что действует вроде бы наверняка. Ну, а безголовые дурни, прущиеся в самое пекло, выходят оттуда целехоньки...

– Как нога-то? – спросил Мануэль, глядя на его походку.

– Не знаю даже, что с ней станет дальше, – пожав плечами, ответил Лэр.

Под ближайшим фонарем Мануэль остановился и взглянул Лэру в глаза.

– Святая Анна явилась к нам во время боя и сбила с неба ядро, летевшее прямо в меня. Не зря же, не просто так она спасла мне жизнь.

– Еще чего! – рявкнул Лэр, пристукнув о палубу тростью. – Ты, парень, в горячке умом повредился!

– Я и ядро могу показать! – возразил Мануэль. – Вон, в настиле застряло!

Но Лэр, даже не взглянув на ядро, заковылял прочь.

Встревоженный словами и хромотой штурмана, Мануэль устремил взгляд в море, в сторону фламандского берега... и увидел вдали нечто непонятное.

– Лэр!

– Чего тебе? – донесся отклик Лэра от противоположного борта.

– Там светится что-то... да ярко как! Будто бы души всех англичан, вместе взятых...

Голос Мануэля дрогнул.

– Что?!

– К нам приближается что-то странное. Поди сюда, штурман, взгляни!

Топ... топ... топ... а затем Мануэль услышал, как Лэр с шипением втянул воздух сквозь сжатые зубы и вполголоса выругался.

– Брандеры!!! – заорал Лэр во всю силу легких. – Брандеры! Подъем! Все наверх!

Не прошло и минуты, как палуба превратилась в сущий бедлам: всюду солдаты, шум, беготня...

– Идем со мной, – велел Лэр.

Мануэль последовал за штурманом на бак – туда, где уходил в глубину якорный трос. Тут Лэр вручил ему раздобытую где-то по пути алебарду.

– Руби канат.

– Но, господин штурман, мы же якорь потеряем.

– Эти брандеры так велики, что не остановишь, а если там антверпенский огонь<sup>6</sup>, они взорвутся и погубят нас всех. Руби!

Мануэль принялся рубить неподатливый трос толщиной в ствол небольшого деревца. Но сколько он ни старался, а перерубить сумел только одну-единственную прядь, и тогда Лэр, выхватив у него алебарду, неуклюже, стараясь не опираться на поврежденную ногу, взялся за дело сам. Тут до обоих донесся крик капитана «Ла Лавии»:

– Руби якорь!

Лэр громогласно захохотал.

Натянутый трос с треском лопнул, корабль снялся с места, но брандеры были уже совсем рядом. В адском зареве Мануэль ясно видел английских матросов, снующих по пылающим палубам прямо сквозь пламя, точно саламандры или демоны. Да, все это – дьяволы, тут никаких сомнений быть не могло. Возвышавшееся над четырьмя парами брандеров пламя имело ту же демоническую природу, что и моряки-англичане: из каждого его ярко-желтого языка тарашилось, высматривая Армаду, око английского демона. Порой эти демоны выпрыгивали из бушевавшего над брандерами пекла в тщетных попытках долететь до «Ла Лавии» и сжечь ее дотла. Жаркие угли Мануэль отгонял, отражал деревянным образком святой Анны да усвоенным в мальчишестве, на Сицилии, жестом, оберегающим от дурного глаза. Тем временем корабли Армады, освободившись от якорей, дрейфовали по течению без руля и ветрил и, торопясь уклониться от брандеров, нередко сталкивались друг с дружкой. Как бы яростно ни орал капитаны и прочие офицеры на коллег с других кораблей, все попусту. В крошечной тьме, да без якорей, собрать флот воедино не удалось, и за ночь большую часть кораблей унесло в Северное море. Впервые безупречные фаланги Армады оказались рассеяны, и снова сплотить ряды им было не суждено.

Когда все это кончилось, лишенная якоря «Ла Лавия» легла в дрейф, держа позицию при помощи парусов. Здесь, в Северном море, офицеры принялись выяснять, что рядом за корабли и каковы последние указания адмирала Медина-Сидония. В ожидании новостей Мануэль с Хуаном стояли на палубе, среди соседей по койкам. Хуан уныло покачал головой.

– Я в Португалии все больше пробки делал. Так вот, мы там, в Канале, были, будто пробка, которую вгоняют в бутылочное горлышко. Пока держались в горлышке, все у нас было в порядке: горлышко-то все уже да уже, попробуй нас выковырни! А вот теперь англичане пропихнули нас внутрь, в бутылку, и плаваем мы тут, в опивках пополам с гущей, и из бутылки нам больше не выбраться.

– Сквозь горлышко точно не выбраться, – согласился кто-то из остальных.

– Да и по-другому – никак.

– Господь не оставит нас. Господь доведет нас до дому, – возразил Мануэль.

Хуан вновь угрюмо покачал головой.

Не рискнув пробиваться в Ла-Манш, адмирал Медина-Сидония решил обогнуть Шотландию, а затем направить Армаду домой. Знавший северные воды, как никто из испанских лоцманов, Лэр целый день провел на флагмане, помогая прокладывать курс.

Потрепанный флот двинулся прочь от солнца, к верхним широтам студеного Северного моря. После ночной атаки брандеров Медина-Сидония всерьез принялся восстанавливать строгую дисциплину. Однажды пережившим множество баталлий в Ла-Манше довелось стать свидетелями казни одного из капитанов, повешенного на ноке рея за то, что, вопреки запрету, позволил своему кораблю опередить флагман. Долго каракка, превращенная в эшафот, сновала вдоль общего строя, дабы все до единого воочию видели труп капитана-ослушника, кулой болтавшийся над волнами...

---

<sup>6</sup> Антверпенский огонь – особый род брандеров, по сути – плавучие бомбы, впервые примененные при осаде Антверпена во время войны за независимость Нидерландов.

Мануэль взирал на все это со страхом и отвращением. Умирая, человек становился попросту мешком с костями: души капитана среди облаков в вышине видно не было. Возможно, сгинула в глубине моря, направившись в ад... Странное то было преображение – смерть. Отчего только Господь не соблаговолил объяснить потолковее, что ждет человека после?

Итак, «Ла Лавия», подобно всем прочим, послушно тащиась за адмиральским флагманом. Армада шла дальше и дальше, к северу, в царство стужи. Порой по утрам, поднимаясь на палубу, вахтенные дивились снастям, обросшим бахромою сосулек, сверкавших в пронзительно-желтом свете зари, словно бриллиантовые ожерелья. Бывало, море за бортом белело, как молоко, а небо над мачтами становилось серебряным. В иные дни волны обретали цвет кровоподтека, небеса же окрашивались свежей, бледной лазурью такой чистоты, что Мануэль, глядя вокруг, задыхался от страстного желания уцелеть в этом плавании и жить долго-долго, до глубокой старости. Все бы ничего... вот только холод здесь царил просто убийственный. Ночи в жару горячки вспоминались теперь с той же нежностью, что и первый дом Мануэля на побережье Северной Африки.

Мороз не щадил никого. Вся живность на борту повымерла, а потому камбуз закрыли и команда осталась без горячей похлебки. Адмирал урезал ежедневные рационы для всех, включая себя самого. Недоедание приковало его к постели до самого завершения плавания, однако матросам, работавшим с вымокшим, а то и обледенелым такелажем, приходилось еще того хуже. Глядя на мрачные лица в очереди за двумя сухарями и большой кружкой вина с водой (вот и весь дневной рацион), Мануэль рассудил: не иначе, плыть им на норд, пока солнце не скроется за горизонтом и не окажутся они в ледяном царстве смерти, на Северном полюсе, где власти Господа, почитай, нет, а уж там все сдадутся, опустят руки и в одночасье помрут. И в самом деле ветры домчали Армаду почти до самой Норвегии, страны фьордов, и только там нашпигованные ядрами корабли с огромным трудом удалось развернуть к западу.

После этого в «Ла Лавии» открылось не меньше двух дюжин новых течей. Хочешь не хочешь, пришлось матросам, и без того выбившимся из сил, обуздывая галеон, круглые сутки трудиться на помпах. Пинта вина и пинта воды в день – откуда тут взяться силам? Стоило ли удивляться, что мрут люди, как мухи? Кровавый понос, простуда, любая царапина – все это означало скорый, неотвратимый конец.

Тут воздух снова сделался зримым, на этот раз – густо-синим. Выдыхаемый, он становился еще темнее, окружал каждого облаком, затмевавшим пылающие над головами венцы человеческих душ. Лазарет опустел: всех раненых постигла смерть. В последние минуты многие звали к себе Мануэля, и он держал умирающих за руку или касался их лбов, а когда очередная душа, расставаясь с телом, угасала, точно последние язычки пламени над углями затухающего костра, молился за упокой уходящего. Теперь его звали на помощь другие, обессиленные настолько, что не могли подняться с коек, и Мануэль шел к ним, сидел рядом, никого не оставляя в беде. Двоим из таких удалось оправиться от поноса, после чего Мануэля стали звать к себе чаще прежнего. Сам капитан, захворав, попросил его о прикосновении, но все равно умер, как и большинство остальных.

Однажды утром Мануэль встретил на палубе, у борта, Лэра. День выдался студеным и пасмурным, море сделалось серым, точно кремьень. Солдаты, выводя наверх лошадей, гнали их за борт, чтобы сберечь пресную воду.

– Этим следовало заняться сразу же, как только нас вытеснили из Рукава, – сказал Лэр. – Сколько воды на них даром потрачено...

– А я и не знал, что у нас лошади есть на борту, – признался Мануэль.

Лэр горько, невесело рассмеялся.

– Ну, парень, по части глупости ты всякому фору дашь! Сюрприз за сюрпризом!

Лошади неуклюже падали в воду, сверкали белками глаз, бешено раздували ноздри, выпуская наружу клубы темно-синего воздуха, барахтались у борта в недолгих попытках спастись...

– С другой стороны, неплохо бы часть на мясо забить, – заметил Лэр.

– Это ж лошади?

– Хоть конина, а тоже мясо.

Лошади исчезли из виду, сменив синь воздуха на серую, точно кремь, воду.

– Жестокость это, – сказал Мануэль.

– В «конских широтах»<sup>7</sup> они по часу бы мучились, – пояснил Лэр. – Лучше уж так. Видишь вон те высокие облака? – спросил он, указывая на запад.

– Вижу.

– Стоят они над Оркнейскими островами. Над Оркнейскими... а может, и над Шетландскими, я уже ни в чем не уверен. Интересно будет взглянуть, сумеет ли это дурачье благополучно провести нашу лохань сквозь архипелаг.

Оглядевшись вокруг, Мануэль обнаружил поблизости всего около дюжины кораблей: очевидно, большая часть Армады ушла вперед, за горизонт. Но, стоило ему задуматься о последних словах Лэра (кому же, как не ему, штурману, вести корабль сквозь лабиринт северной части Британских островов?), Лэр закатил глаза, точно одна из тонущих лошадей, и мешком рухнул на палубу. Мануэль с еще парой матросов поспешили отнести штурмана вниз, в лазарет.

– Это все его нога, – сказал брат Люсьен. – Ступню размозжило, вот нога и загнила. Позволил бы он мне ее отнять...

К полудню Лэр снова пришел в себя. Не отходивший от него ни на шаг, Мануэль взял штурмана за руку, однако Лэр, нахмурившись, отдернул ладонь.

– Слушай, парень, – с трудом заговорил он. Душа его мерцала, точно синяя шапочка-пилеолус, едва прикрывающая спутанные волосы цвета соли с перцем. – Я тебя кой-каким словам научу. На будущее могут сгодиться. Слушай и запоминай: «Тор конлэх нэм ан диа».

Мануэль старательно повторил непонятную фразу.

– Еще раз.

Мануэль принялся повторять слова Лэра снова и снова, будто молитву на латыни.

– Добро, – кивнул Лэр. – Тор конлэх нэм ан диа. Запомни накрепко.

После этого он поднял взгляд к палубным бимсам над головой и на вопросы Мануэля отвечать отказался. Чувства на лице штурмана сменяли друг дружку, точно тени. Казалось, Лэр смотрит вдаль, в бесконечность. Но вот, наконец, он оторвал взгляд от потолка и вновь повернул голову к Мануэлю.

– Прикоснись ко мне, парень.

Мануэль коснулся Лэрова лба. Лэр с горькой улыбкой смежил веки. Голубой венчик пламени, оторвавшись от его темени, взвился вверх, миновал потолок и исчез.

Хоронили Лэра под вечер, в дымчатом, inferнально-буrom зареве заходящего солнца. Брат Люсьен прочел над усопшим краткую мессу, бормоча так, что никто ничего не расслышал, Мануэль прижал к остывшему плечу Лэра обратную сторону своего образка, отпечатав на коже крест, а после Лэра швырнули за борт. Глядя на все это, Мануэль дивился собственной безмятежности. Месяца не прошло с тех пор, как он кричал от гнева и муки при виде гибели товарищей, однако сейчас смотрел, как исчезает в серых, точно железо, волнах тот, кто учил его и защищал, с самому ему непонятным спокойствием.

---

<sup>7</sup> «Конские широты» – штилевая полоса Атлантического океана (около 30 град. с. ш. и 30 град. ю. ш.), где вода намного теплее, чем в Северном море.

Спустя еще пару ночей после гибели Лэра Мануэль сидел в стороне от уцелевших соседей по нижней палубе, спавших, сбившись в кучу, точно выводок котят. Сидел и наблюдал за венчиками лазурного пламени, мерцавшими над изнуренными телами матросов – глядел на них безо всякой на то причины, без каких-либо чувств. Устал он смертельно.

– Мануэль! – прошептал брат Люсьен, заглянувший в узкий проем люка. – Мануэль, ты здесь?

– Здесь.

– Идем со мной.

Мануэль поднялся и последовал за доминиканцем.

– Куда это мы?

Брат Люсьен покачал головой.

– Пора, – только и ответил он, сопроводив ответ длинной фразой на греческом.

У брата Люсьена имелся при себе небольшой, с трех сторон закрытый фонарь. Освещая им путь, оба добрались до люка, ведущего вниз.

Да, Мануэлева палуба, хоть и находилась под батарейной, была вовсе не самой нижней палубой корабля: на поверку «Ла Лавия» оказалась гораздо, гораздо больше. Спускаясь вниз, Мануэль с братом Люсьеном миновали еще три палубы, без портов, так как находились они ниже ватерлинии. Здесь, в постоянном мраке, хранились бочки с сухарями и пресной водой, ядра, канаты и прочие корабельные припасы. Миновали они и крюйт-камеру, куда каптенармус входил только в войлочных шлепанцах, дабы искра от сапожного гвоздя, воспламенив порох, не разнесла весь корабль в щепки. Затем они отыскиали люк с трапом, ведущим еще ниже. Чем дальше вниз, тем уже становились проходы, и вскоре идти, выпрямившись во весь рост, сделалось невозможно. К немалому изумлению Мануэля, полагавшего, что они уже над самым килем, а то и в каком-то странном трюме, сооруженном под килем, даже эта палуба оказалась отнюдь не последней: оставив позади затейливый лабиринт черных от сырости дощатых переборок, оба снова спустились вниз. Давным-давно заплутавший, растерянный из страха потеряться и сгинуть в чреве корабля, Мануэль крепко вцепился в руку брата Люсьена. Наконец узкий коридор закончился, приведя путников к небольшой дверце. Постучавшись в нее, брат Люсьен что-то шепнул, и дверца отворилась. Неяркий свет, хлынувший в коридор, заставил Мануэля зажмуриться.

После тесноты коридоров помещение, куда они вошли, казалось невероятно просторным. То был «канатный ящик», расположенный в носу корабля, над самым килем. Столкновение с брандерами стоило «Ла Лавии» большей части якорного каната, и жалкие его остатки занимали всего-то пару углов. Помещение освещали свечи в небольших железных канделябрах, прибитых к боковым балкам. Пол под ногами был примерно на дюйм залит водой, и пламя свечей отражалось в ее зеркале крохотными белыми точками. Крутобокие стены блестели от сырости. Посреди помещения возвышался перевернутый ящик, покрытый куском холста. Вокруг ящика собралось около полудюжины человек: солдат, один из корабельных старшин и несколько матросов из тех, кого Мануэль знал только в лицо. Трилистники кобальтового пламени над их головами придавали всему вокруг явственный синеватый оттенок.

– Мы готовы, отче, – сказал один из собравшихся брату Люсьену.

Доминиканец подвел Мануэля к накрытому холстиной ящику, а остальные обступили его кругом. Тут Мануэль заметил у ближней к корме переборки, малость не достигавшей пола, пару огромных, лоснящихся бурых крыс, моргая, пошевеливая усами, взиравших на необычное оживление. Стоило Мануэлю нахмуриться, одна из них плюхнулась в воду, покрывавшую пол, и уплыла в брешь под переборкой. Извивавшийся хвост беглянки напоминал крохотную змею, что, несомненно, вполне соответствовало истинной ее сущности. Вторая крыса даже не сдвинулась с места – только сверкнула блестящими бусинами глазок, словно расплачиваясь за неприязнь Мануэля той же монетой.

Стоя за ящиком, брат Люсьен обвел взглядом собравшихся и начал читать на латыни. Начало Мануэль сумел понять без труда:

– Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого...

Голос брата Люсьена звучал властно, но в то же время умиротворяюще, с мольбою, однако ж и с гордостью. Покончив с Символом Веры, он раскрыл новую книжицу – ту самую, что всегда носил при себе, и продолжил читать по-испански:

– Знай, о Израиль: что у людей зовется жизнью и смертью, есть словно белые и черные бусы на нити, а нить та, что служит основой извечной смене белого черным, есть неизменное житие мое, связующее воедино нескончаемую череду малых жизней и малых смертей. Как ветер сбивает корабль с пути над бездной морскою, так и блуждающие ветры чувств влекут человеческий разум к бездонным глубинам. Но слушай же! Грядет день, когда свет сущий уймет все ветры, и обуздает всю нечестивую ползучую тьму, и благословит все обители твои непорочным сиянием, от венца пламенна нисходящим!

Пока брат Люсьен читал все это, солдат не спеша обошел помещение. Вначале он водрузил на ящик тарелку с разрезанным сухарем. За месяцы морского плавания сухарь успел изрядно зачерстветь, однако кто-то не поленился нарезать его на ломтики, а ломтики отшлифовать, превратив их в гостии, тонкие до полупрозрачности облатки медвяно-желтого цвета. Дыры, проточенные в сухаре червями, придавали каждой немалое сходство со старинной монетой, сплюсненной и продырявленной, чтобы носить в ухе или на шее.

Затем солдат вынул из-за ящика пустую стеклянную бутылку с отсеченным верхом, превращенную в нечто наподобие чаши, и до половины наполнил ее из фляжки тем самым кошмарным вином, что хранилось в трюмах «Ла Лавии». Доминиканец все читал и читал, и солдат, убрав фляжку, обошел собравшихся одного за другим. У каждого на руках имелись незаживающие кровоточащие порезы, и каждый, растравив ранку, протягивал к поданной бутылке ладонь, роняя в вино по нескольку капелек крови. Вскоре вино потемнело настолько, что Мануэлю, не в пример остальным, видевшему голубое зарево их душ, начало казаться бархатно-фиолетовым.

Покончив с этим, солдат поставил бутылку на ящик, возле тарелки с гостиями, а завершивший чтение брат Люсьен, бросив на него взгляд, произнес нараспев последнюю фразу:

– О светильники огненны! Озарите же глубину пещер разума, осияйте возлюбленных ваших, свет неземной и тепло им даруя, дабы стали мы с вами едины!

Взяв с ящика тарелку, он начал обходить собравшихся и каждому класть в рот гостию.

– Тело Христово примите. Тело Христово примите.

Мануэль с хрустом разгрыз и разжевал гостию, выточенную из сухаря. Теперь-то он, наконец, понял, что происходит. Все это – божественная литургия, поминальная служба по Лэру и по всем остальным, по всем до единого, ибо все они обречены на погибель. Там, за выгнутой наружу стеной, за отсыревшим бортом – пучина морская, жмет, давит на доски обшивки, стремится проникнуть внутрь. В конце концов все они, поглощенные морской стихией, отправятся на корм рыбам, после чего их кости украсят дно океана, куда Господь почти не заглядывает. При этой мысли у Мануэля горло перехватило, да так, что он едва сумел проглотить разжеванный сухарь.

– Кровь Христову, пролитую за вас, – начал было брат Люсьен, поднося к губам половинку бутылки, но Мануэль остановил его и вынул «чашу» из рук доминиканца.

Солдат шагнул к Мануэлю, но брат Люсьен отогнал его взмахом руки, преклонил перед Мануэлем колени и перекрестился, только не как положено, а наоборот, по-гречески, слева направо.

– Ты есть кровь Христова, – сказал Мануэль, поднося к губам брата Люсьена половинку бутылки и наклонив ее так, чтоб доминиканец смог сделать глоток.

То же самое он проделал для каждого из остальных, не исключая солдата.

– Вы есть кровь Христова.

В этой части литургии никто из них ни разу в жизни участия не принимал, и некоторые с трудом сумели проглотить вино. Обнеся «чашей» всех, Мануэль поднес ее к губам и допил все до дна.

– В книге брата Люсьена сказано: свет сущий благословит все обители твои непорочным сиянием, от венца пламенна нисходящим, и тогда все мы станем Христом. Да, так и есть. Выпили мы, и теперь мы – Христос. Смотрите, – он указал на оставшуюся крысу, поднявшуюся на задние лапки, а передние сложившую перед собой, словно молится, не сводя с Мануэля круглых блестящих глазок, – даже звери все чувствуют!

Отломив кусочек гостии, он наклонился и протянул его крысе. Крыса, приняв угощение, отправила его в пасть и прикосновению Мануэля противиться тоже не стала. Стоило ему выпрямиться – кровь прилила, прихлынула к голове. Огненные венцы полыхали над теменем каждого, тянулись ввысь, лизали потолочные бимсы, озаряя канатный ящик неземным светом...

– Он здесь! – вскричал Мануэль. – Он коснулся нас светом, смотрите!

С этим он прикоснулся ко лбу каждого по очереди, и собравшиеся вытаращили глаза, в изумлении дивясь виду пылающих душ, указывая пальцами на головы друг друга. Окутавшиеся непорочным белым сиянием, все они обнялись, обливаясь слезами, в бородах их засверкали улыбки невероятной ширины. Отражения свечного пламени заплескали по залитому водою полу тысячами огоньков. Вспугнутая, крыса с плеском шмыгнула в брешь под переборкой, а люди хохотали, хохотали, хохотали без умолку.

Мануэль обнял брата Люсьена. Глаза доминиканца сияли от счастья.

– Все хорошо, – дождавшись тишины, сказал Мануэль. – Господь приведет нас домой.

На верхние палубы поднялись, словно мальчишки, играющие в пещере, где им знаком каждый уголок.

Оркнейские острова Армада сумела пройти без Лэра, хотя часть кораблей при том едва-едва не погибла. Далее флот вышел в Северную Атлантику, где волны сделались шире, впадины между ними – глубже, а гребни порой превосходили высотой надстройки юта и бака «Ла Лавии».

Тут с северо-востока налетели буйные ветры, никак не желавшие униматься, и спустя три недели после прохода сквозь Оркнейский архипелаг Армада не приблизилась к Испании ни на пядь. Положение на «Ла Лавии», как и на остальных кораблях, сложилось – отчаянней некуда. Без смерти не обходилось ни дня. Умерших бросали за борт без каких-либо церемоний, разве что с крестиком, отпечатанным оборотной стороной Мануэлева образка на плече. После стольких потерь нехватка воды и пищи сделалась не такой острой, как прежде, однако угрозу собою по-прежнему представляла очень и очень серьезную. Теперь «Ла Лавией» управлял призрак, жалкая тень команды, по большей части собранная из солдат. Для постоянной работы на помпах людей уже не хватало, а Атлантика каждый день отворяла в изрядно потрепанном корпусе новые течи. Вода набиралась в трюмы в таких количествах, что исправляющий должность капитана (плавание он начинал третьим помощником) решил идти к Испании напрямик, не плутая зря вдоль незнакомого западного побережья Ирландии. Поддержанное капитанами еще полудюжины поврежденных кораблей его решение было передано основной части флота, ушедшей дальше на запад, прежде чем взять курс на Испанию, и вскоре, с дозволения прикованного хворью к постели адмирала Медина-Сидония, «Ла Лавия» повернула на юг.

К несчастью вскоре после того, как корабли повернули домой, с направления чуть к норду от веста налетел ужасный шторм. Против такого они оказались бессильны. Ныряя во впадины меж волнами, «Ла Лавия» содрогалась под их ударами, пока не очутилась невдалеке от подветренного берега, побережья Ирландии.

То был конец, и все это поняли сразу же – особенно Мануэль, так как воздух вокруг почернел. Тучи, точно тысячи черных английских ядер, в десять ярусов плыли едва не над самыми мачтами, плевались молниями, сталкиваясь друг с дружкой. Воздух под тучами тоже был черен, только не так густ: зримый, словно морские волны, ветер яростными, дымчатыми водоворотами вился вокруг мачт. Товарищи Мануэля хоть мельком, да видели подветренный берег, но сам он не мог разглядеть во всей этой черноте ничего. Между тем все вокруг завопило от страха: очевидно, корабль несло к сплошной отвесной скале. Да, если так, это вправду конец...

Однако бывшим третьим помощником, выбившимся в капитаны, оставалось лишь восхищаться. Встав к штурвалу, он закричал, веля впередсмотрящему в «вороньем гнезде» искать среди скал, на которые гонит их буря, хоть какую-нибудь бухту. Но приказание оставаться на местах Мануэль, подобно многим другим, пропустил мимо ушей – за явной бессмысленностью такового. На баке, на юте, повсюду вокруг одни обнимались на прощание, другие в ужасе прятались за переборками. Многие, подходя к Мануэлю, просили коснуться их, и Мануэль, раздраженно расхаживая по полубаку, касался их лбов. Как только он к кому-либо притрагивался, одни из таких взлетали напрямик в небо, другие же прыгали за борт и, едва достигнув воды, превращались в бурых дельфинов, но Мануэль ничего этого не замечал – он молился, молился, молился во всю силу голоса:

– *Зачем* этот шторм, Господи, *зачем*? Те ветры с норда, не пускавшие нас вперед... только из-за них я и здесь. Выходит, здесь я тебе и нужен, но для чего, для чего, для чего? Хуан мертв, и Лэр мертв, и Пьетро, и Абеддин, а скоро и мы все погибнем, а чего ради? Так же нечестно! Ведь ты обещал воротить нас домой!

В ярости он выхватил нож для резки фитилей, сполз вниз, на залитую волнами палубу, подбежал к грот-мачте и с силой, глубоко вогнал клинок в дерево, усеянное намертво въевшимися в него песчинками.

– Вот! *Вот* твоей буре, вот!

– Экое святотатство, – заметил Лэр, выдернув нож из мачты и швырнув его за борт. – Ты же знаешь, что значит воткнутый в мачту клинок. Прodelывая подобное в такой страшный шторм, ты оскорбляешь богов куда старше, древнее... и много могущественнее Иисуса.

– Вот, кстати, о святотатстве, – парировал Мануэль. – Такие вещи говоришь и еще удивляешься, отчего до сих пор блуждаешь призраком в море? Сам бы поостерегся!

Подняв взгляд, он обнаружил на грот-марсе святую Анну, указывающую третьему помощнику путь.

– Слыхала, что сказал Лэр? – крикнул ей Мануэль, но святая его не услышала.

– Слова, которым я учил тебя, помнишь? – спросил Лэр.

– Конечно, помню! Но ты, Лэр, не докучай мне сейчас: подожди, скоро и я тоже призраком стану.

Лэр отступил назад, но Мануэль, передумав с ним расставаться, окликнул его:

– Скажи, Лэр, за что нам такие кары? Ведь мы же шли в поход во славу Господа, разве нет? Не понимаю я...

Лэр, улыбнувшись, развернулся кругом, и Мануэль увидел за спиной штурмана крылья – белоперые крылья, ослепительно яркие на фоне черного, мрачного воздуха.

– Ты сам знаешь все, что я мог бы сказать.

С этими словами Лэр крепко стиснул плечо Мануэля, расправил крылья, чайкой взвился в черную высь и взял курс на восток.

При помощи святой Анны третий помощник вправду сумел отыскать в скалах брешь, изрядных размеров бухту. Прочие корабли Армады тоже нашли ее и один за другим выбросились на сушу. Тем временем «Ла Лавию» несло волнами к берегу, ближе, ближе... а едва киль ее заскрежетал о дно, все вокруг начало с треском рушиться. Мутные волны захлестнули

накренившийся борт, залили палубу, и Мануэль стремглав бросился к трапу на полубак, накрытый спутанным такелажем треснувшей пополам фок-мачты. Тем временем грот-мачта рухнула в воду, подветренный борт корабля треснул, словно бадья с фитилями, и волны морские на глазах уцелевших хлынули внутрь, в трюм. Среди подхваченных морем обломков Мануэль приметил и доску с застрявшей в ней черной полусферой пушечного ядра – наверняка того самого, что угодило бы прямо в него, если бы не вмешательство святой Анны. Вспомнив, как та спасла его жизнь, Мануэль несколько успокоился и принялся ждать ее появления. До берега оставалось всего ничего, две-три длины корпуса галеона, только разглядеть его в мутном воздухе оказалось не так-то легко, но плавать Мануэль, подобно большинству товарищей, не умел и встревоженно озирался кругом в поисках святой Анны. Тут рядом с ним возник брат Люсьен в долгополой черной рясе.

– Если ухватиться за доску, волны вынесут нас на сушу! – крикнул доминиканец сквозь свист черного ветра.

– Плыви! – прокричал в ответ Мануэль. – Я святой Анны дождусь!

Брат Люсьен только пожал плечами. Ветер подхватил его рясу, и Мануэль обнаружил, что доминиканец задумал спасти литургические золотые цепи, обвязав их вокруг пояса. Подойдя к лееру, брат Люсьен прыгнул вниз, к уносимому волнами обломку реи... однако дотянуться до спасительного рангоутного дерева не сумел и камнем пошел ко дну.

Тем временем волны добрались до баковой надстройки. Еще немного, и пенные буруны оторвут ее от киля... Большая часть команды, доверившись тому или иному обломку дерева, уже покинула разбитый корабль, но Мануэль не спешил. Мало-помалу он начал тревожиться, и тут среди выбравшихся на едва различимый во мраке берег появилась она, присноблаженная бабушка Господа. Ступив в белую пену морскую, она поманила Мануэля к себе, и тогда он разом все понял.

– Ну конечно, ведь все мы есть Христос, вот я и дойду до берега, подобно Спасителю!

С этой мыслью Мануэль попробовал ногою поверхность воды. Вода показалась ему малость, скажем так, зыбковатой, но удержать его вес вроде бы вполне могла. Наверное, море сейчас – все равно, что пол их ныне погибшей «часовни», добрая твердь Господня, сокрытая под тонким слоем воды. Рассудив так, Мануэль смело шагнул на гребень волны, поднявшийся до высоты полубака... и сразу же ухнул вниз, в соленую морскую бездну.

– Эй! – пробулькал он, рванувшись к поверхности. – Эй!

Нет, на сей раз святая Анна безмолвствовала. Со всех сторон его окружали лишь ледяные соленые воды. Задышающемуся, барахтающемуся в волнах, Мануэлю вспомнилось, как еще в детстве, в Марокко, отец взял его с собою на берег, поглядеть на отплытие гребных галер, везущих паломников в Мекку. Ничто на свете не могло бы столь же разительно отличаться от побережья Ирландии, как тот безмятежный, насквозь пропеченный солнцем золотисто-коричневый пляж, где они с отцом вышли на мелководье, поплескаться в теплой воде, гоняясь за лимонами. Лимоны отец забрасывал чуть глубже, и они прыгали, приплясывали на волнах у самой поверхности, а Мануэль плыл, греб по-собачьи, со смехом, захлебываясь, догонял их и доставал.

Сейчас, фыркая, кашляя, отчаянно суча ногами в попытках еще хоть разок поднять голову над ледяной соленой похлебкой, он представлял себе те лимоны во всех, в мельчайших подробностях. Пляшущие в зеленоватой воде, бугристые, продолговатые, цвета солнца, поднявшегося над горизонтом поутру во всей красе... легонько покачиваются под самой поверхностью, порой выставляя наружу золотистый бочок. Притворясь одним из этих лимонов, Мануэль лихорадочно вспоминал зачаточные навыки плавания по-собачьи, сослужившие ему добрую службу на мелководье у марокканского берега. Так, руками вниз... нет, не выходит, не выходит...

А между тем волны несли, гнали его к полоске суши кубарем, словно лимон. Наткнувшись на дно, Мануэль поднялся. Глубина оказалась всего-то по пояс, однако новая волна ударила в спину, швырнула вперед, и на сей раз нащупать дна ему не удалось. «Нечестно!» – подумалось Мануэлю, но тут его локоть вонзился в песок, и он, извернувшись, снова встал на ноги. Теперь вода доставала лишь до колен. Присматривая за коварными волнами, набегавшими сзади, из мрака, он двинулся к берегу, к широкой полосе грубого, крупнозернистого песка, устланного ковром вынесенных на сушу водорослей.

На берегу, в отдалении, виднелись матросы, товарищи, пережившие крушение корабля, а еще... а еще – множество английских солдат, конных и пеших, разящих палашами, а то и просто прикладами аркебуз изнуренных людей, распростертых на гудах морской травы.

При виде этой картины Мануэль застонал.

– Нет! Нет! – закричал он.

Однако все это ему не чудилось.

– О Господи, – прошептал Мануэль и, обессиленный, опустился на песок.

Дальше, на берегу, солдаты истребляли его собратьев, раскалывая хрупкие, точно яичная скорлупа, черепа, орошая засохшие водоросли желтком мозга. Не в силах ничем помешать им, Мануэль забарабанил онемевшими до бесчувствия кулаками о прибрежный песок. Переполняемый ужасом, смотрел он во мрак черного воздуха, на поднимающихся на дыбы огромных, призрачных лошадей. Солдаты двигались вдоль берега, приближались к нему.

– Стану-ка я невидимым, – решил Мануэль. – Уж в этом-то святая Анна мне не откажет.

Однако вспомнив, чем завершились попытки пройти по воде аки посуху, он счел за лучшее пособить чуду – нетвердым шагом выбраться на берег и закопаться в самую высокую кучу морской травы. Разумеется, незримым он стал и без этого, но под «одеялом» из водорослей было гораздо теплее. Размышляя обо всем этом, Мануэль неудержимо дрожал. Ни избыточное тело, ни онемевшие руки не чувствовали неподвижной земли.

К тому времени, как он очнулся, солдат и след простыл. Товарищи по плаванию лежали вдоль берега, будто белые бревна, колоды, выброшенные на сушу прибоем; вокруг, чуя поживу, собирались волки да вороны. Закоченевшему, утратившему способность двигаться, Мануэлю потребовалось добрых полчаса, чтоб приподнять голову и оглядеться. Еще полчаса он выбирался из-под кучи водорослей, а после ему, хочешь не хочешь, снова пришлось прилечь.

Придя в сознание, он обнаружил рядом изрядных размеров бревно, давным-давно вынесенное морем на сушу, за многие годы отполированное песком до серебристого блеска. Воздух вновь сделался чист: чувствуя, как он с каждым вдохом наполняет грудь, с каждым выдохом струится наружу, Мануэль его больше не видел. В небе сияло солнце: настало утро, шторм унялся. Любое движение тела, доведенное до конца, казалось немалой победой – целой жизнью, целой эпохой. Насквозь просоленная кожа словно бы сделалась полупрозрачной. Всю одежду, кроме обрывков штанов вокруг пояса, он потерял. Невероятным усилием воли Мануэль заставил руку поднять ладонь, коснулся мертвого дерева негнущимся указательным пальцем. Да, бревно палец чувствовал – стало быть, он все еще жив...

Рука бессильно упала на песок. Бревно там, где палец коснулся дерева, преобразилось: на серебристом боку его появилось ярко-зеленое пятнышко, а над пятнышком поднялся, потянулся к солнцу тонкий зеленый побег, растущий, крепнущий на глазах. Вот на нем распустились листочки, а затем, к величайшему изумлению Мануэля, набух, развернул лепестки цветочный бутон. Миг – и над бревном закачалась прекрасная белая роза, влажно поблескивавшая в ясном утреннем свете.

Кое-как ухитрившись подняться, Мануэль закутался в водоросли, прошел в глубину берега целую четверть мили и тут-то набрел на людей. Встречных, точности ради, оказалось трое: двое мужчин и женщина. Более дикого вида Мануэль не мог бы даже вообразить. Мужчины, похоже, в жизни не стригли бород, а мощью рук не уступали Лэру. Женщина выгля-

дела точной копией миниатюрного портрета святой Анны с его образка, но, стоило ей подойти поближе, одежда ее оказалась невероятно грязна, улыбка щербата, а кожа пятниста, будто собачье брюхо. Такого множества веснушек Мануэль никогда еще не видал и уставился на них – на нее – с тем же изумлением, с каким женщина и ее спутники таращились на него.

Мануэля охватил страх.

– Пожалуйста, спрячьте меня от англичан, – сказал он.

При слове «англичане» мужчины сдвинули брови, склонили головы на сторону, затараторили на непонятном, неведомом языке.

– Помогите мне, – попросил Мануэль. – Речи вашей я не понимаю. Помогите.

Но сколько он ни пробовал объясниться – по-испански, по-португальски, по-арабски, по-сицилийски, – мужчины только хмурились, злились сильнее и сильнее, а когда Мануэль перешел на латынь, вовсе подались назад.

– Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого... особенно невидимого...

Чутьочку истерически рассмеявшись, он схватился за образок и показал им крест. Встречные уставились на медальон в совершеннейшем недоумении.

– Тор конлэх нэм ан дия, – само собой сорвалось с Мануэлева языка.

Все четверо вздрогнули от неожиданности. Подхватив его с двух сторон, мужчины оживленно затараторили, замахали свободными руками, а женщина улыбнулась, и Мануэль понял, что она совсем еще молода. Тогда он повторил то же самое снова, и встречные вновь залопотали по-своему, обращаясь к нему.

– Благодарю тебя, Лэр. Благодарю тебя, Анна. Анна, – сказал он девушке и потянулся к ней.

Девушка, пискнув, отступила назад.

– Тор конлэх нэм ан дия, – повторил Мануэль в третий раз.

Мужчины подняли его, так как сам он идти больше не мог, и понесли через заросшую вереском пустошь. Мануэль, улыбнувшись, расцеловал обоих спасителей в щеки, чем изрядно их насмешил, и опять повторил волшебные слова и почувствовал, что его неудержимо клонит в сон.

– Тор конлэх нэм ан дия, – с улыбкой сказал он напоследок.

Девушка нежно смахнула со лба Мануэля пряди мокрых волос. Прикосновение оказалось до боли знакомым – тем самым, дающим начало цветению в сердце, в душе.

*...смилуйтесь Господа ради...*

## «Лаки Страйк»

*Перевод Д. Старкова*

Странные развлечения порождает порою война... В июле 1945 года, на острове Тиниан, в северной части Тихого океана, капитан Фрэнк Дженьюэри увлекся возведением на вершине горы Лассо курганчиков из камешков-голышей – по камешку на каждый взлетевший Б-29, по курганчику на каждое боевое задание. В самом большом из курганчиков насчитывалось четыреста голышей. Да, забава бессмысленная, но ведь и покер ничем не лучше. В покер ребята из 509-й, сидя в тени пальмы вокруг перевернутого ящика, потея в трусах да майках, отчаянно ругаясь, ставя на кон все жалованье и курево, сыграли не менее миллиона конов – кон за коном, сдачу за сдачей, пока карты не изотрутся, не измочалятся так, что хоть зад ими подтирай. В конце концов капитану Дженьюэри все это до смерти надоело, и после того, как он пару раз поднялся на вершину горы, кое-кто из товарищей потянулся за ним, а когда к их компании примкнул командир экипажа, Джим Фитч, подобные вылазки обрели статус «официального» времяпрепровождения, наряду с запуском сигнальных ракет за ограду расположения группы, или охоты на джапов<sup>8</sup>, исхитрившихся улизнуть от прежних облав. Насчет собственных мыслей об этакой эволюции капитан Дженьюэри не распространялся. Остальные сгрудились вокруг капитана Фитча, пустившего по кругу потертую, выдавшую виды фляжку.

– Эй, Дженьюэри! – окликнул его Фитч. – Давай к нам, глотни малость!

Неспешно подойдя к группе, Дженьюэри принял у него фляжку. Фитч засмеялся, кивнув на камешки в его руке.

– Накрытие цели отрабатываешь, Профессор?

– Угу, – мрачно подтвердил Дженьюэри.

«Профессором» у Фитча становился любой, читающий что-либо кроме комиксов на последних страницах газет. Поднеся горлышко фляжки к губам, Дженьюэри от души глотнул рому. Здесь, вдали от зоркого взгляда психиатра авиагруппы, он мог пить как угодно, на любой манер. Еще глоток, и Дженьюэри передал фляжку лейтенанту Мэтьюзу, штурману.

– Потому он и лучший, что на практику времени не жалеет, – сострил Мэтьюз.

Фитч снова захохотал.

– Лучший он потому, что я велю лучшим быть, верно, Профессор?

Дженьюэри сдвинул брови. Фитч был нескладным, грузным юнцом, толстомордым, с пороссячьими глазками... и, по мнению Дженьюэри, изрядным подонком. Всем остальным в экипаже, как и Фитчу, исполнилось лет этак по двадцать пять, и грубоватые начальственные манеры капитана им импонировали, а вот тридцатисемилетнего Дженьюэри от них с души воротило. Ничего не ответив, он отошел и вновь занялся курганчиком. Отсюда, с вершины горы Лассо, открывался вид на весь остров, от гавани возле Уолл-Стрит до Северного поля в Гарлеме<sup>9</sup>. С четырех параллельных взлетных полос Северного поля с ревом взлетали, держа курс на Японию, сотни Б-29. Последняя четверка, отправленная на задание, пересекла остров поперек, и Дженьюэри уронил в кучу еще четыре камешка, метя во впадины среди остальных. Один из них, угодив точно в цель, лег так, что лучше не придумаешь.

– Вон они! – сказал Мэтьюз. – Вон, на рулежке!

Дженьюэри отыскал взглядом первый из самолетов 509-й. Сегодня, первого августа, на поле творилось нечто поинтереснее обычного парада «летающих крепостей». Как выяснилось, генерал Лемей был готов отстранить 509-ю от особого задания, а их командующий, полковник

---

<sup>8</sup> Джапы (от *англ.* «japs») – презрительное прозвище японцев.

<sup>9</sup> Благодаря сходству Тиниана с о-вом Манхэттен расположение улиц и их названия нередко копируют «сердце» Нью-Йорка.

Тиббетс, отправился скандалить с Лемеем лично, и генерал согласился оставить задание им, но при одном условии: первым делом один из людей генерала совершит с 509-й пробный вылет и убедится в их пригодности к боям над Японией. Что ж, человек генерала прибыл, и теперь он там, внизу, на борту супербомбера, с Тиббетсом во главе всей «первой сборной»...

Дженьюэри вернулся к товарищам, чтоб поглядеть на взлет с ними вместе.

– Кстати, а почему у их «крепости» своего имени нет? – удивлялся Хэддок.

– Не станет Льюис давать ей имя: машина-то не его, и он это прекрасно знает, – пояснил Фитч.

Все прочие захохотали. Любимчики Тиббетса, Льюис и его экипаж популярностью среди сослуживцев, ясное дело, не пользовались.

– Как он, по-вашему, генеральского уполномоченного прокатит? – спросил Мэтьюз.

Остальные снова захохотали.

– Что угодно ставлю: движки на взлете загасит, – откликнулся Фитч, указав на разбитые Б-29, красовавшиеся в конце каждой из четырех полос. Все это были машины, павшие жертвой отказа двигателей на взлете. – Непременно захочет показать, что в случае отказа не упадет.

– Так он и не упадет! – заметил Мэтьюз.

– Будем надеяться, – вполголоса проворчал Дженьюэри.

– Поторопились они с этими райтовскими движками, – без тени веселья сказал Хэддок. – Сыроваты еще. Раз за разом их режет на отрыве от полосы, нагрузки не держат.

– Ну, это старому быку все равно, – заверил его Мэтьюз.

Тут все разом, даже Фитч, завели разговор о летных талантах Тиббетса. Полковника каждый полагал лучшим из лучших, а вот Дженьюэри, наоборот, не любил Тиббетса даже сильнее, чем Фитча. Началось это сразу же, едва он получил назначение в 509-ю. Ему пообещали «работу» в важнейшей авиагруппе кампании, а после предоставили отпуск. И вот тут-то, в Виксберге, парочка летунов, только что вернувшихся из Англии, принялась накачивать его виски, а поскольку Дженьюэри более полугода прослужил на базе под Лондоном, разговор их затянулся надолго и все трое порядком поднабрались. Оба случайных знакомца назойливо интересовались, что ожидает Дженьюэри впереди, но капитан о том не распространялся, а раз за разом переводил разговор на «Блиц»<sup>10</sup>. К примеру, знал он одну медсестру-англичанку, чей дом был разрушен бомбой, погубившей всех ее родных и соседей... но эти двое все никак не унимались. В конце концов он, не вдаваясь в подробности, ответил, что отправляется выполнять особое задание, и тут оба сунули ему под нос именные бляхи, представились сотрудниками разведывательного управления СВ и сказали: еще одно подобное нарушение режима секретности, и капитану Дженьюэри Аляска за счастье покажется. Подстава – грязнее некуда. Вернувшись в Вендовер, Дженьюэри Тиббетсу так прямо в лицо и сказал, а Тиббетс, побагровев, тоже начал грозить ему всеми мыслимыми карами. За это Дженьюэри откровенно его презирал... и от боевых операций в итоге оказался практически отстранен, так как Тиббетс действительно во всем и всегда отдавал предпочтение тем, кто ходил у него в любимчиках. Пожалуй, против безделья Дженьюэри не очень-то возражал, вот только за год учений бомбы укладывал в цель лучше, точнее, чем когда-либо: пусть старый бык видит, что рано списал Дженьюэри со счета. Стоило им глянуть друг другу в глаза, все сразу же становилось ясно, но Тиббетс уперся и задания, с какой бы точностью Дженьюэри ни отбомбился, не давал. Поразмыслишь о подобных материях, поневоле начнешь муравьев камешками бомбить...

– Дженьюэри, да сколько можно-то? – раздраженно осведомился Фитч. – Уверен: ты и в сортире гадишь не иначе, как с потолка – прицельное бомбометание по очку отработываешь!

---

<sup>10</sup> Блиц (также «Большой Блиц», «Лондонский Блиц») – часть Битвы за Британию, бомбардировка Великобритании авиацией гитлеровской Германии в период с сентября 1940 г. по май 1941 г.

– А тебе что за дело? Не над тобой вроде сплю, – парировал Дженьюэри. – Глядите, сейчас на взлет пойдут.

Машина Тиббетса вырулила на полосу «Бейкер». Фитч снова пустил фляжку по кругу. Здесь, в тропиках, солнце жарило немилосердно, и океан вокруг острова сверкал белизной, как алмаз. Обливавшийся потом Дженьюэри сдвинул пониже козырек бейсболки.

Две пары пропеллеров вгрызлись в воздух, набрав обороты, и элегантная, обтекаемая сигара «летающей крепости» с ревом помчалась вдоль полосы «Бейкер». Три четверти полосы позади... и тут правый внешний винт стал во флюгер<sup>11</sup>.

– Ага! – шумно обрадовался Фитч. – А что я вам говорил?!

Машина дернула носом вверх, вильнула вправо, но тут же выровняла бег. Четверка молодых вокруг Дженьюэри восторженно, торжествующе завопила.

– Сейчас и третий номер обрежет, – заметил Дженьюэри.

И верно: правый внутренний винт тоже стал во флюгер. Теперь машину тянули вперед и вверх, на отрыв, только двигатели левого крыла, а оба правых винта крутились вхолостую, за счет авторотации.

– Аб-балдеть! – воскликнул Хэддок. – Ну? Не молодец ли наш старый бык?

Любуясь мощностью машины и бесстрашием Тиббетса, все четверо взвыли во всю силу легких.

– Богом клянусь, Лемеев уполномоченный запомнит этот полет! – загоготал Фитч. – Ух ты, гляди-ка, гляди: вираж закладывает!

Очевидно, отказа двух двигателей из четырех Тиббетсу показалось мало: самолет накрепился вправо и, встав на мертвое крыло, развернулся назад, к Тиниану.

И тут стал во флюгер левый внутренний винт.

Война... Чего только не вытворяет она с человеческим воображением! Три года Фрэнк Дженьюэри держал собственное воображение в узде, не давая ему ни малейшей воли. Опасности, грозившие ему самому, разрушения, учиненные бомбами, судьбы всех прочих воюющих – задумываться обо всем этом он себе настрого запрещал, однако война раз за разом находила в его самообладании бреши. Квартира той медсестры-англичанки... удары по Руру... бомбардировщик, разнесенный в куски зенитным огнем прямо под брюхом его машины... а далее – год в штате Юта, и бывшая прочная власть над собственным воображением изрядно ослабла.

Вот потому-то при виде второго зафлюгированного винта сердце в его груди малость дрогнуло, и он помимо собственной воли словно бы оказался там, на борту, рядом с Фереби, бомбардиром Тиббетса, словно бы вместе с ним взглянул через плечи пилотов...

– Один движок из четырех? – пролепетал Фитч.

– Как видишь, – резко откликнулся Дженьюэри.

Помимо собственной воли он *видел* и панику в кабине, и лихорадочные попытки запустить хоть один из двух правых двигателей. Машина быстро шла книзу, и Тиббетс поспешил ее выровнять, взяв курс назад, на остров. Вращаемые встречным потоком воздуха, оба правых винта слились в серебристые, мерцающие круги. Вдохнув, Дженьюэри затаил дыхание. Тиббетс явно пытался пересечь остров – возможно, тянул к короткой посадочной полосе в его южной части, однако «летающей крепости» отчаянно не хватало подъемной тяги.

Да, Тиниан был слишком высок, а машина слишком уж тяжела. Еще минута, и Б-29 с ревом врзался в джунгли над самым берегом, там, где 42-я улица упиралась в местный Ист-Ривер. Над зеленью зарослей взвился, расцвел огненный шар. К тому времени, как до вершины горы донесся звук взрыва, все поняли: живых на борту не осталось.

---

<sup>11</sup> Флюгирование винта – поворот лопастей воздушного винта на 85–90° относительно плоскости вращения. Применяется для минимизации сопротивления воздуха после отказа двигателя в полете.

В белое небо поднялся столб черного дыма. Когда грохот утих, над горою Лассо воцарилось безмолвие, нарушаемое только гудением да трескотней насекомых. Дженьюэри со всхлипом, прерывисто перевел дух. В последний миг он был там, вместе с Фереби, своими ушами слышал отчаянные вопли, своими глазами видел несущуюся навстречу зелень, а после взрыв оглушил его, пронзив все тело невыносимой ноющей болью, точно огромное сверло зубного врача.

– О Господи... о Господи, – бормотал Фитч.

Мэтьюз, не устояв на ногах, уселся на землю. Подобрал фляжку, Дженьюэри бросил ее Фитчу.

– И... идемте, – пролепетал он (а ведь не заикался Дженьюэри с шестнадцати лет).

Следом за ним с горы поспешно спустились и остальные. Стоило им оказаться на Бродвее, рядом взвизгнули тормоза резко свернувшего в их сторону джипа. За рулем сидел полковник Скоулз, зам старого быка.

– Что случилось?

Фитч объяснил ему, что.

– Провалиться бы этим «райтам», – буркнул Скоулз, пока экипаж забирался в кабину.

Да, на сей раз один из райтовских двигателей отказал в самый неподходящий момент. Электрод, отнятый от металла неким сварщиком дома, в Штатах, на полсекунды раньше, чем нужно, или еще какая-нибудь мелочь, какой-то пустяк в том же роде... и вот чем обернулся этот пустяк.

Оставив джип на углу 42-й и Бродвея, все двинулись на восток, по узкой дорожке, ведущей к берегу. Огонь выжег в джунглях порядочный круг, однако пожарные машины уже были на месте.

Остановившийся рядом с Дженьюэри Скоулз помрачнел пуще прежнего.

– Весь первый экипаж, – с трудом проговорил он. – Лучшие из лучших...

– Это уж точно, – откликнулся Дженьюэри.

Живо представившему себя погибшим, разбившимся, испепеленным, ему все никак не удавалось оправиться от потрясения. Однажды, еще мальчишкой, он, привязав к рукам и к поясу простыни, прыгнул с крыши и приземлился прямо на грудь, и сейчас чувствовал себя почти так же. К чему приведет это «падение»? Как знать... однако по всем ощущениям Дженьюэри вправду словно бы с лету шмякнуло о нечто твердое.

Скоулз сокрушенно покачал головой. Четверо товарищей Дженьюэри по экипажу о чем-то трепались с ребятами из десантного инженерно-строительного батальона.

– Он собирался назвать самолет в честь матери, – сообщил Скоулз, не отрывая глаз от земли. – Только сегодня утром мне об этом сказал. «Энола Гэй»... вот как он машину хотел окрестить...

По ночам джунгли дышали, обдавая расположение 509-й волнами жаркого влажного воздуха. В надежде хоть на какой-то сквозняк Дженьюэри торчал в дверях ангара из гофры, служившего авиагруппе казармой. О покере в эту ночь никто даже не вспоминал. Лица серьезные, голоса приглушены... Кое-кто из сослуживцев помог собрать вещи погибших, а к этому времени почти все улеглись по койкам. Отчаявшийся дожидаться сквозняка, Дженьюэри тоже вскарабкался к себе, на верхний ярус, лег и устремил взгляд вверх, к ребристой арке потолка.

Стрекот сверчков вонзался в мозг, точно скрежет пилы. Внизу беседовали – негромко, торопливо, чуточку виновато, а заправлял разговором Фитч.

– Дженьюэри – лучший из оставшихся бомбардиров, – толковал он, – а я ничуть не хуже Льюиса.

– Так ведь и Суини тоже, – напомнил ему Мэтьюз, – а он у Скоулза в экипаже.

Гадают, кому выпадет вылет с особым заданием...

Дженьюэри зло стиснул зубы. Полсутки после гибели Тиббетса с экипажем не прошло, а эти уже насчет замены им препираются!

Схватив рубашку, Дженьюэри скатился с койки и продел руки в рукава.

– Эй, Профессор, – окликнул его Фитч, – куда это ты?

– На воздух.

Дело близилось к полуночи, но духота снаружи стояла невыносимая. Сверчки, умолкавшие при звуке шагов, вновь заводили песню у него за спиной. Дженьюэри закурил. Во мраке «эм-пи»<sup>12</sup>, патрулировавшие огороженную территорию расположения группы, казались просто парами ходячих нарукавных нашивок. Ну да, как же, как же... 509-я... пленники собственной армии... Летуны из других групп завели моду швыряться камнями через ограду. Затянувшись, Дженьюэри с силой выпустил изо рта струю табачного дыма, будто это заодно могло избавить его и от отвращения к сослуживцам. «Пацаны ведь еще», – напомнил он себе самому. Да, пацаны... ребяташки. Воспитанные войной, на войне, для войны, они-то знают, чуют, что подолгу скорбеть о погибших нельзя: взвалишь на плечи этакий груз – как бы у тебя самого движки не обрезало. Что ж, против этого Дженьюэри несколько не возражал. Тиббетс ведь тоже способствовал воспитанию подобных воззрений, а значит, вполне такого заслуживает. Вдобавок, ради особого задания Тиббетс был бы согласен и на забвение: в последнее время он жил только затем, чтоб сбросить на джапов эту хитроумную погремушку, позабыв и о подчиненных, и о супруге, и о родных.

Нет, раздражала Дженьюэри отнюдь не бесчувственность товарищей по поводу гибели Тиббетса. Желание нанести удар, к которому их готовили целый год, – тоже дело вполне естественное. Вполне естественное... для пацанвы, приученной фанатиками вроде Тиббетса выполнять приказ, не задумываясь о последствиях, но он, Дженьюэри, не безмозглый мальчишка и не позволит таким, как Тиббетс, управлять его мыслями! А что до новой погремушки... да, в ней-то уж точно ничего естественного нет и быть не может. Надо думать, какая-то химическая бомба, против всех Женевских конвенций...

Загасив сигарету о подошву, Дженьюэри швырнул окурок за забор. Дыхание тропической ночи отдалось ноющей болью в висках.

Который месяц он был уверен, что боевых вылетов ему не видать! Неприязнь во взгляде Тиббетса (а выражение глаз Дженьюэри чувствовал великолепно), как и в его собственном взгляде при виде полковника, была вполне искренней и неистребимой. Тиббетс понимал, что ювелирная точность бомбометания в учебных вылетах над Солтон-Си – своеобразный способ выразить презрение к нему, своеобразный способ сказать: «Да, да, друг друга мы на дух не переносим, однако тебе от меня не избавиться». При такой результативности Тиббетс был вынужден держать Дженьюэри в одном из четырех экипажей резерва, но из-за поднятого вокруг хитроумной новинки шума Дженьюэри полагал, что до него очередь попросту не дойдет.

Теперь же дела обстояли совсем по-другому: Тиббетс погиб, и...

Вновь закулив, Дженьюэри обнаружил, что руки его просто-таки ходят ходуном. Дым «Кэмела» показался небывало горьким на вкус. Дженьюэри швырнул сигарету через забор, вслед удалявшейся паре нарукавных нашивок, но тут же пожалел о содеянном: зачем добру зря пропадать? Вернувшись в казарму, он вынул из рундука в изножье кровати книгу в мягкой обложке и снова взобрался на койку.

– Эй, Профессор, чего нынче читаешь? – с ухмылкой спросил Фитч.

Дженьюэри молча показал ему синий переплет: Исак Динесен<sup>13</sup>, «Зимние сказки».

---

<sup>12</sup> Эм-пи (от Military Police) – обиходное прозвище служащих Корпуса военной полиции ВС США.

<sup>13</sup> Исак Динесен – один из псевдонимов Карен Бликсен, известной датской писательницы середины XX в., писавшей в основном по-английски.

– Небось, забористое что-нибудь? – не унимался Фитч, оглядев невзрачное карманное издание военного лихолетья.

– А то, – без тени улыбки заверил его Дженьюэри. – У этого парня без секса ни страницы не обходится.

Взобравшись на койку, он раскрыл книгу. Рассказы внутри оказались какими-то странными – поди разберись, что к чему, а тут еще голоса внизу не дают покоя...

Раздраженно нахмурившись, Дженьюэри целиком сосредоточился на чтении. Мальчишкой, на отцовской ферме в Арканзасе, он читал все, что бы ни подвернулось под руку. Каждую субботу после полудня он наперегонки с отцом (отец читать тоже любил) несся по глинистой тропке к почтовому ящику, выхватывал изнутри очередной номер «Сатердэй Ивнинг Пост» и удира прочь, чтоб с жадностью, не отрываясь, проглотить его от корки до корки. Конечно, таким образом он оставался без нового чтения на целую неделю, однако поделаться с собой ничего не мог. Больше всего ему нравились рассказы о приключениях Горацио Хорнблоуэра<sup>14</sup>, но и остальное тоже вполне годилось. Все это открывало путь к бегству – бегству с фермы в другой, большой мир. Так Дженьюэри и вырос человеком, способным спрятаться под книжной обложкой, когда пожелает. Когда пожелает... только не в эту ночь.

Назавтра капеллан отслужил по погибшим поминальную службу, а следующим утром, сразу же после завтрака, в двери ангара заглянул заметно осунувшийся полковник Скоулз. Глаза его покраснели.

– В одиннадцать – инструктаж. Приходите пораньше, – объявил он и, отыскав взглядом Фитча, поманил его к выходу. – Фитч, Дженьюэри, Мэтьюз – за мной.

Дженьюэри принялся обуваться. Остальные, сидя на койках, молча взирали на них. Провожаемый множеством взглядов, Дженьюэри вышел наружу следом за Фитчем и Мэтьюзом.

– Я почти всю ночь убил на радиопереговоры с генералом Лемеем, – заговорил Скоулз, взглянув в глаза каждому, – и мы решили, что первый удар нанесет ваш экипаж.

Фитч кивнул – хладнокровно, будто ничего другого и не ожидал.

– Как думаешь, справишься? – нахмурился Скоулз.

– Конечно, – отвечал Фитч.

Глядя на все это, Дженьюэри понял, отчего Тиббетса заменили именно им: Фитч был точно таким же, как старый бык, – точно таким же грубым, бездушным быком, только возрастом помоложе.

– Так точно, сэр, – подтвердил и Мэтьюз.

Скоулз перевел взгляд на него.

– Разумеется, – не желая ни о чем размышлять, ответил и Дженьюэри. – Разумеется.

Сердце его молотом стучало о ребра, однако Фитч с Мэтьюзом держались серьезно, что твои филины, а выделяться, выглядеть странно на общем фоне Дженьюэри не хотелось. Да, новость, конечно, нешуточная, тут кто угодно опешит... однако Дженьюэри, взяв себя в руки, кивнул.

– О'кей, – продолжал Скоулз. – Вторым пилотом с вами летит Макдональд.

Фитч сдвинул брови.

– Теперь я еще должен сообщить тем британцам, что их Лемей к вылету допустить не пожелал. До встречи на инструктаже.

– Так точно, сэр.

Как только Скоулз завернул за угол, Фитч торжествующе вскинул к небу кулак.

---

<sup>14</sup> Горацио Хорнблоуэр – литературный персонаж, офицер Королевского Британского Флота в период Наполеоновских войн, созданный писателем С. С. Форестером, один из популярнейших в англоязычном мире героев военно-морских приключенческих произведений.

– Йоу! – вскричал Мэтьюз, пожимая Фитчу руку. – Победа! Победа!

Расплывшись в идиотской улыбке, он что было сил стиснул ладонь Дженьюэри.

– Ну, кто-то да должен же был победить, – заметил Дженьюэри.

– Э-э, Фрэнк, не будь же таким сухарем! – с жаром воскликнул Мэтьюз. – Вечно ты, как... как...

– Старый Профессор Каменная Морда, – закончил за него Фитч, с едва уловимым изумленным презрением глядя на Дженьюэри. – Идемте, на инструктаж пора.

Ангар для предполетных инструктажей, одна из самых длинных сборных времянок, был полностью окружен «эм-пи» с карабинами наперевес.

– Ну и дела, – слегка подавленный размахом событий, прокомментировал Мэтьюз.

Внутри густо клубился табачный дым. На стенах, как всегда, красовались карты Японии, а впереди стояли две классные доски, задернутые простынями. В задних рядах капитан Шепард, флотский офицер, работавший над новинкой вместе с учеными, при помощи ассистента, лейтенанта Стоуна, заряжал пленку в кинопроектор, а на передней скамье, у стены, восседал доктор Нельсон, психиатр авиагруппы. Психиатра на группу не так давно спустил с цепи все тот же Тиббетс – еще одна «роскошная идея» того же сорта, что и провокаторы в баре. Дженьюэри вопросы Нельсона казались на удивление глупыми. Психиатр, а даже не понял, что Истерли – трепло, каких свет не видывал, хотя это сразу же становилось ясно любому, кто с ним летал или хоть раз сыграл в покер...

Пробравшись между скамеек, Дженьюэри сел рядом с товарищами по экипажу. Тут в ангар вошли и оба бритта – судя по каменным на свой, английский, манер физиономиям, донельзя разъяренные. Стоило им усесться на скамью позади Дженьюэри, в дверях появились экипажи Истерли и Суини, и в помещении яблоку стало негде упасть. Фитч и остальные задыхались «Лаки Страйк»<sup>15</sup>: с тех пор, как их экипаж окрестил этим именем свой Б-29, только Дженьюэри и остался верен привычному «Кэмелу».

Явившийся в компании полудюжины незнакомцев Скоулз вышел вперед. Болтовня разом стихла, и даже полосы табачного дыма словно бы замерли в воздухе.

Скоулз кивнул, и двое офицеров из разведслужбы сдернули с досок простыни, прикрывавшие снимки, сделанные во время воздушной рекогносцировки.

– Ребята, – заговорил Скоулз, – вот цели. Три города.

Кто-то откашлялся.

– В порядке предпочтения: Хиросима, Кокура и, наконец, Нагасаки. Предварительную метеоразведку обеспечивают: в районе Хиросимы – «Стрит-Флэш», в районе Кокуры – «Стр-эйндж Карго», в районе Нагасаки – «Фул-Хаус». «Грейт Артист» и «Намбер 91» пойдут сопровождающими и выполнят фотосъемку... ну, а «Лаки Страйк» доставит на место бомбу.

Вокруг засмеялись, закашляли, заерзали, поворачиваясь к Дженьюэри с товарищами, и все они выпрямились, расправили плечи. Суини, потянувшись назад, пожал Фитчу руку, а Фитч просиял, заулыбался от уха до уха.

– Ну, а теперь самое главное, – продолжал Скоулз. – Оружие, которое нам поручено доставить к цели, было успешно испытано на родине пару недель назад. Теперь нами, – тут он сделал паузу, подчеркивая значимость дальнейшего, – получен приказ сбросить его на врага. В подробности вас посвятит капитан Шепард.

Шепард неспешно, упиваясь всеобщим вниманием, вышел вперед, к доске. Лоб его блестел от капелек пота, и Дженьюэри понял: он либо здорово возбужден, либо порядком нервничает. Интересно, что скажет о нем психиатр?

---

<sup>15</sup> Лаки Страйк (англ. «Lucky Strike») в общем смысле – счастливый случай, неожиданное везение, однако это выражение может иметь много дословных толкований, в том числе – «удачный удар», «удачная атака».

– Перейду сразу к сути, – заговорил Шепард. – Бомба, которую вам предстоит сбрасывать, – новая веха в истории человечества. Подобных еще не бывало. Мы полагаем, взрыв сметет все в радиусе четырех миль.

В ангаре наступила полная тишина. Дженьюэри с изумлением отметил, что превосходно видит большую часть своего носа, и брови, и скулы – казалось, он пятится назад, отступает, прячется в глубине собственного тела, точно лиса в норе... однако упорно не отводит взгляда от Шепарда.

Тем временем Шепард снова задернул доску простыней, а еще кто-то выключил освещение.

– Сейчас я покажу вам фильм о единственном проведенном нами испытании, – пояснил он.

Проектор застрекотал, захлебнулся, застрекотал вновь. Над головами сидящих вспыхнул дрожащий луч света, выхвативший из темноты зыбкие пелены сигаретного дыма, и на простыне возник мертвенно-серый пейзаж: огромное небо, пустыня, ровная, точно стол, вершины холмов вдалеке. «Клик-клик-клик-клик, клик-клик-клик-клик», – стрекотал, пел проектор.

– Бомба – вон там, на вершине той вышки, – пояснил Шепард, и Дженьюэри сосредоточился на булавоподобном строении, возвышавшемся над пустыней у самого горизонта, ближе к холмам. От камеры вышку отделяло миль этак восемь-десять: оценивать расстояния на глазок он научился неплохо, вот только собственное лицо несколько отвлекало.

«Клик-клик-клик-клик-клик»... На секунду экран побелел, озарив вспышкой даже ангар. Когда на простыне снова возникло изображение, над пустыней словно бы распустился исполинский белый цветок. Обретя плотность, огненный шар – бог ты мой! – упруго взвился в небеса, в самую *стратосферу*, будто трассер, покидающий ствол пулемета, волоча за собой белоснежный столб дыма. Поднявшийся кверху, словно колонна, дым этот вспух, раздался во все стороны, обращаясь в венчающий колонну шар. Как Дженьюэри ни прикидывал величину растущего облака, а оценить ее верно наверняка не сумел. Шар был огромен – просто огромен, и все тут. Изображение заморгало, экран вновь побелел, как будто камера расплавилась от страшной жары или часть мира в том месте вдруг разом исчезла, но затихающее хлопанье свободного конца киноплёнки в заднем ряду подсказывало: фильму конец.

Дженьюэри замер, едва дыша сквозь разинутый рот. Под потолком, в клубах табачного дыма, вспыхнули лампы. Охваченный паникой, Дженьюэри поспешил изобразить на лице обычное, ни к чему не обязывающее выражение – ведь психиатр наверняка наблюдает за каждым... но, оглядевшись вокруг, понял, что опасаться нечего, что он вовсе не одинок. Бледные лица, прижмуренные либо выпученные глаза, отвисшие либо накрепко стиснутые челюсти, во взглядах – ужас пополам с изумлением... похоже, все до единого хоть ненадолго, на миг, осознали, во что ввязались.

«Повторите, пожалуйста», – едва не ляпнул Дженьюэри, чем не на шутку перепугал себя самого.

Фитч нервно теребил темный завиток хулиганского чубчика надо лбом. Один из лайми<sup>16</sup> за его спиной явно передумал злиться да горевать о том, что не допущен к заданию. Напротив, теперь ему было изрядно не по себе. Кто-то шумно, протяжно перевел дух, еще кто-то присвистнул. Вновь устремив взгляд вперед, Дженьюэри обнаружил, что психиатр наблюдает за ними, словно бы нимало не обеспокоенный.

– Да, штука мощная, это уж точно, – подытожил Шепард. – И никому пока не известно, что произойдет, если ее сбросить с воздуха. Но грибовидное облако, которое вы сейчас видели, достигнет тридцати, а может, даже шестидесяти тысяч футов в диаметре. А вспышка, показанная в самом начале, была жарче самого солнца.

---

<sup>16</sup> Лайми, лайм (англ. «Limey») – американское прозвище англичан, особенно английских матросов и солдат.

Жарче самого солнца... И снова – кто нервно облизывает губы, кто судорожно сглатывает, кто поправляет бейсболку. Один из разведчиков пустил по рядам затемненные очки-консервы, вроде тех, какими пользуются сварщики. Приняв свою пару, Дженьюэри повертел регулятор прозрачности.

– Теперь убойнее, так сказать, вас нет никого во всех вооруженных силах, а потому о задании – не болтать, даже между собой, – сказал Шепард, сделав глубокий вдох. – Давайте сработаем так, чтобы полковнику Тиббетсу не в чем было нас упрекнуть. В группу полковник подбирал только лучших из лучших, так пусть все увидят, что он ни в одном из вас не ошибся. Сработаем так, чтоб старик... чтоб старик был вами горд.

На том инструктаж и закончился. Покинув ангар, все вдруг оказались на жарком, слепящем солнце. Капитан Шепард подошел к Фитчу.

– Я и Стоун полетим с вами и позаботимся о бомбе, – сказал он.

– Вы не знаете, сколько нам таких вылетов предстоит? – кивнув, спросил Фитч.

Шепард сурово, оценивающе оглядел экипаж.

– Сколько потребуется, чтобы утомонить их. Но одного им хватит вполне.

Странные сновидения порождает порою война... Той ночью Дженьюэри беспокойно ворочался поверх простыней, в жаркой и влажной мгле без просвета, в той самой пугающей полудреме, когда сам понимаешь, что все это сон, но ничего не можешь с собою поделать, а снилось ему, как идет он...

*...идет по улицам города, и вдруг солнце, спикировав вниз, мячиком приземляется где-то поблизости. Миг – и вокруг ничего, ничего, только тьма, дым, безмолвие... оглушительный грохот... стены огня... Голова взрывается болью, перед глазами маячит мутное голубовато-белое пятно, точно сработавшая под самым носом вспышка камеры самого Господа. «А, да... солнце же рухнуло», – думается ему. Руку жжет, словно огнем. Моргать – и то невыносимо больно. Вокруг, спотыкаясь, разинув рты, бредут куда-то люди с ужасающими ожогами по всему телу...*

Сам он – священник, судя по туго сдавившему шею «пасторскому» воротничку, и раненые просят его о помощи. В ответ он указывает на собственные уши, пытается нащупать их, но из этого ничего не выходит. Все застилает завеса черного дыма, весь город падает, рушится, заваливая улицы. О, да, вот и настал конец света! В парке он обнаруживает тень и толику расчищенного места. Люди прячутся под кустами, сжавшись в комок, точно испуганные звери. Там, где парк примыкает к реке, в курящейся паром воде собрались целые толпы горожан: одни черны, другие красны, как раки. Из бамбуковой рощи кто-то машет рукой, манит его к себе. Войдя в заросли, он находит среди стеблей бамбука около полудюжины сбившихся в кучу безликих солдат. Глаза их выжжены, рты – словно бездонные черные дыры. Глухота бережет его от их слов. Единственный зрячий солдат подносит к губам сложенную горстью ладонь, точно пьет. Солдаты изнемогают от жажды. Согласно кивнув, он отправляется к реке, на поиски какой-нибудь посуды. Вниз по течению плывут тела погибших.

Который час ищет он ведро, но все напрасно. Скольких он за это время вытащил из-под завалов... Слыша пронзительный птичий крик, он понимает, что его глухота – это рев горящего города, рев, очень похожий на шум крови в ушах, но на самом-то деле он не оглох, а только подумал, будто оглох, потому что человеческих криков нигде не слышно. Люди страдают в безмолвии. В сумраке ночи он, спотыкаясь, бредет назад, к реке. Голова словно вот-вот лопнет от боли. Посреди поля люди выкапывают из земли картофелины, прекрасно пропекшиеся – бери да ешь. Разделив с едоками одну, он идет дальше. У реки все мертвы...

...и Дженьюэри, обливаясь едким вонючим потом, с трудом очнулся от кошмарного сна. Во рту чувствовался явственный привкус земли, желудок свело от ужаса, грубая мокрая простыня намертво прилипла к телу, жаждущие воздуха легкие грозили раздавить, смять меж

собою сердце. В ноздри ударили запахи джунглей – ароматы цветов пополам с вонью гнили, и образы из сновидения замелькали перед глазами так ярко, отчетливо, что в полутемном ангаре ничего больше не разглядишь. Схватив сигареты, Дженьюэри спрыгнул с койки и поспешил наружу. За дверью он, кое-как совладав с дрожью рук, закурил и двинулся вдоль забора. На миг его охватило нешуточное беспокойство: вдруг этот идиот-психиатр увидит... однако от этой идеи Дженьюэри тут же и отмахнулся. В эту минуту Нельсон наверняка спал без задних ног. Дрых вместе со всеми прочими.

Покачав головой, Дженьюэри бросил взгляд на правую руку и едва не выронил сигарету... но нет, то был всего-навсего старый шрам, шрам от ожога, сопутствовавший ему большую часть жизни, с тех самых пор, как он, неудачно сдернув с кухонной плиты сковородку, обжег руку кипящим маслом. Округлившийся от испуга, словно заглавное О, рот матери, примчавшейся поглядеть, что стряслось, он живо помнил по сей день. «Старый шрам от ожога, и больше ничего, и нечего тут огород городить», – подумал Дженьюэри, одернув книзу засученный рукав.

Остаток ночи он провел на ногах, смоля сигарету за сигаретой в попытках избавиться от впечатлений, навеванных кошмарным сном. Купол неба мало-помалу светлел, а когда вся территория и джунгли за забором сделались видны, как на ладони, загнанный светом дня в казарму Дженьюэри улегся на койку, будто ничего особенного с ним не произошло.

Спустя двое суток Скоулз приказал им взять с собой одного из людей Лемея в пробный полет над островом Рота. Этот, новый подполковник велел Фитчу не баловаться с двигателями на отрыве от полосы, и полет прошел как по маслу. Макет новинки Дженьюэри уложил прямо в точку прицеливания, как множество раз делал на учениях над Солтон-Си, а Фитч заложил крутой вираж и начал стапятидесятиградусный разворот, уводя машину прочь от опасности. На Тиниане, по приземлении, подполковник поздравил их и пожал каждому руку. Дженьюэри улыбался вместе со всеми, ладони его были прохладны и сухи, а сердце билось – ровней не бывает. Казалось, тело его – скорлупа, оболочка, которой можно управлять извне, будто прицелом для бомбометания. Ел он прекрасно, болтал с товарищами не меньше, чем прежде, а изловленный психиатром группы ради кое-каких вопросов держался открыто и дружелюбно.

– Хелло, док.

– Ну, Фрэнк, как настрой? Как теперь себя чувствуешь?

– Как обычно, сэр. Как всегда. Полный порядок.

– Что с аппетитом?

– Лучше не бывает.

– Спишь хорошо?

– Насколько возможно в такой духоте. Боюсь, привычка к климату Юты – это надолго.

Нельсон захохотал.

На самом деле после того кошмара Дженьюэри почти не спал. Просто боялся уснуть. Неужто этот тип вправду ничего не замечает?

– Ну, а каково чувствовать себя одним из экипажа, которому доверен первый удар?

– Думаю, начальство в выборе не ошиблось. Мы же л... лучший экипаж из оставшихся.

– Жалеешь о гибели экипажа Тиббетса?

– Да, сэр, еще как.

И только попробуй мне не поверить...

После нескольких дежурных шуток и твердого рукопожатия, завершившего «собеседование», Дженьюэри вышел наружу, навстречу слепящему полуденному солнцу тропиков, и закурил. И лишь после этого, махнув психиатру рукой на прощание, дал волю чувствам. Как же он презирал этого безмозглого остолопа! Психиатр... под самым носом ничего не замечает! А ведь случись что, кто, как не он, окажется виноват?

Выпустив вверх тугую струю табачного дыма, Дженьюэри задумался о том, как мучительно просто одурачить кого-либо – стоит лишь захотеть. Сейчас за него все проделала марио-

нетка, маска, управляемая извне, пока сам Дженьюэри по-прежнему жил там, в стрекоте кино-проектора, в безмолвном грохоте кошмарного сна, в борьбе с видениями, от которых никак не может избавиться.

От жара тропического солнца – сколько там до него, девяносто три миллиона миль? – болезненно ныло в затылке. Глядя, как психиатр тащит к себе Коченски, их хвостового стрелка, Дженьюэри призадумался, не подойти ли к этому типу да не сказать ли: «К чертям все это. Не желаю я этого делать»? Однако перед глазами сразу же замелькали выражения, порожденные этой новостью, на лицах Нельсона, Фитча, Тиббетса, и разум его воспротивился, исполнился отвращения к подобной мысли: слишком уж глубоко Дженьюэри их презирал. Нет, повода для презрения, повода счесть его трусом он им не даст ни за что. Согласиться, смириться – намного, намного проще.

Рассудив так, Дженьюэри настрого запретил себе строить подобные планы и потому, спустя еще пару беспорядочных, словно в бреду прожитых дней, вскоре после полуночи 9 августа неожиданно для себя самого обнаружил, что как ни в чем не бывало готовится к вылету. Тем же самым занимались все прочие – и Фитч, и Мэтьюз, и Хэддок. Какой же странной может казаться обычная процедура одевания, когда тебе предстоит стереть с лица земли целый город, погубить разом сотни тысяч людей! Собственные ладони, ботинки, потрескавшийся линолеум – все это Дженьюэри разглядывал, словно видел впервые. Надев спасжилет, он рассеянно проверил карманы: рыболовные крючки, запас питьевой воды, аптечка первой помощи, аварийный паек – все на месте. За спасжилетом последовала подвесная система парашюта и, напоследок, летный комбинезон. Возня с ботинками заняла не одну минуту: попробуй-ка совладай со шнуровкой, так пристально наблюдая за собственными пальцами...

– Идем, Профессор! Наш большой день настал!

Голос Фитча звучал как-то сдавленно. Затянув шнурки, Дженьюэри двинулся следом за остальными, в ночь. Снаружи веяло прохладным ветром. Капеллан помолился о них, а после все погрузились в джипы и, миновав Бродвей, оказались на полосе «Эйбл». «Лаки Страйк» кольцом окружали прожектора и люди – половина с камерами, остальные с репортерскими блокнотами в руках. Все они вмиг столпились вокруг экипажа, точно на голливудской премьере. С грехом пополам отделавшись от газетчиков, Дженьюэри добрался до люка и скрылся в машине, а остальные последовали за ним. Спустя битых полчаса к ним присоединился и Фитч, сиявший улыбкой, будто кинозвезда. Рев и вибрация запущенных двигателей заглушили мысли, навевая покой, чему Дженьюэри был искренне рад. «Летающая крепость» двинулась прочь от голливудской сцены, и Дженьюэри с облегчением перевел дух... но тут же вспомнил, куда они отправляются. На взлетной полосе «Эйбл» движки набрали положенные двадцать три сотни оборотов в минуту, и маркеры взлетно-посадочной полосы за прозрачным стеклом фонаря гермокабины замелькали много быстрее. Фитч продолжал разбег, пока не оставил позади Тиниан, а там быстро поднял машину в воздух. Вот и все. Вот они и в пути.

Когда «Лаки Страйк» набрал высоту, Дженьюэри протиснулся мимо Фитча с Макдональдом к бомбардирскому креслу, пристроил парашют на сиденье и откинулся назад. Рокот двух пар двигателей обволакивал, будто толстый слой ваты. Полет начался, и теперь ничего уже не изменишь. В носу самолета, в уюте мощной вибрации, Дженьюэри овладела покойная, дремотная грусть, а с нею пришло и смирение.

Но вдруг перед глазами, на фоне сомкнутых век, мелькнуло черное, безглазое лицо, и Дженьюэри, вздрогнув, очнулся от дремы. Сердце в груди забилося как бешеное. Полет начался, и назад не свернуть. А ведь как просто, как просто он мог бы выпутаться! Всего и дела, взять да сказать: не желаю... просто до отвращения! И плевать, что подумает о нем психиатр, или Тиббетс, или кто угодно другой. Их мнения в сравнении с таким ужасом – пшик.

Однако теперь выхода не было... и от этого на сердце сделалось несколько легче. Теперь Дженьюэри мог ни о чем не тревожиться, не тешить себя иллюзиями, будто у него имеется выбор.

Обхватив коленями бомбоприцел, Дженьюэри вновь задремал, и во сне ему привиделся новый выход из положения. Что, если подняться к Фитчу с Макдональдом и сказать, будто он втайне получил повышение до майора и приказ изменить цель задания? Сказать, будто им надлежит лететь на Токио и сбросить бомбу в залив. Будто военный кабинет джапов предупрежден о демонстрации нового вооружения, а увидев, как огненный шар вскипятит воду в заливе и взовьется к небу, их министры – камикадзе они или нет – помчатся подписывать бумаги о капитуляции впереди собственного визга. Не сумасшедшие же они, в конце концов, а значит, и целый город губить совсем ни к чему.

План был настолько хорош, что генералы на родине, вне всяких сомнений, как раз минуту назад изменили задание, экстренно передали новые указания на Тиниан... но опоздали, а стало быть, по возвращении Дженьюэри, догадавшийся, чего командующим на самом деле угодно, рискнувший всем ради претворения их замысла в жизнь, станет героем, совсем как в одном из рассказов о Хорнблоуэре из «Сатердэй Ивнинг Пост»...

И снова Дженьюэри, вздрогнув, очнулся от дремы. Наяву радость, навеянная сновидением, сменилась отчаянием, безысходностью, глумливым презрением к себе самому. Как он из кожи ни лезь, Фитч с остальными попросту не поверят в приоритет его приказаний над прежними. Подняться в кабину пилотов и, пригрозив пистолетом, *приказать* им сбросить бомбу в Токийский залив Дженьюэри тоже не сможет: ведь бомбу-то сбрасывать ему, а находиться одновременно и там, и здесь, за бомбоприцелом, он не сумеет. Все это – пустые мечты.

Время тянулось медленно, секундная стрелка еле ползла, однако мысли Дженьюэри не уступали в скорости воздушным винтам самолета, металась из стороны в сторону, то туда, то сюда, точно зверь, угодивший лапой в капкан. Экипаж безмолвствовал. Облака под брюхом машины, над черной равниной океана, белели россыпями валунов. Приземистая стойка бомбоприцела мерно вибрировала, касаясь колена. Сбрасывать бомбу, хочешь не хочешь, придется ему, Дженьюэри. Куда б ни рвались, куда бы ни мчались мысли, этот факт преграждал им путь со всех сторон. Сбрасывать бомбу ему – не Фитчу, не экипажу, не Лемею, не генералам с учеными, что остались на родине, не Трумэну с советниками – ему. Трумэн... В эту минуту Дженьюэри возненавидел его всей душой. Рузвельт сработал бы по-другому... если бы только остался жив! Скорбь, охватившая Дженьюэри, когда он узнал о смерти Рузвельта, возобновилась, сделалась горькой, как никогда. Несправедливо это – отдать войне столько сил и не увидеть ее завершения, тем более что ФДР закончил бы войну иначе. Он еще в самом начале всей этой заварухи во всеуслышанье заявил, что гражданские цели бомбежкам не подлежат, и если бы остался жив... если бы... если бы... если бы... Однако Рузвельта больше нет, а этот улыбчивый ублюдок, Гарри Трумэн, приказывает *ему*, Фрэнку Дженьюэри, сбросить солнце на головы двухсот тысяч женщин и детей. Однажды отец взял его с собой поглядеть игру «Браунз» перед двадцатью тысячами зрителей, перед огромной толпой...

– Я за тебя не голосовал, – с яростью прошипел Дженьюэри и вздрогнул, осознав, что говорит вслух.

К счастью, его микрофон оказался отключенным... но ведь Рузвельт наверняка, *наверняка* поступил бы иначе!

Бомбоприцел перед носом вонзался в темное небо, закрывая собой малую часть многих сотен крохотных крестиков-звезд. «Лаки Страйк» неумолимо неся в направлении Иводзимы, с каждой минутой приближаясь к цели еще на четыре мили. Склонившись вперед, Дженьюэри прильнул к прохладным окулярам бомбоприцела в надежде, что их оправа удержит и лоб, и мысли... странно, но это на удивление хорошо помогло.

В наушниках затрещало, и он поспешил выпрямиться.

– Капитан Дженьюэри, – окликнул его Шепард. – Мы начинаем ставить бомбу на взвод, желаете поглядеть?

– Еще бы!

Удивляясь собственному двуличию, Дженьюэри покачал головой, поднялся наверх, протиснулся между пилотских кресел и неуклюже пробрался в просторный отсек за кабиной пилотов. Ноги не гнулись, точно деревянные. Мэтьюз за штурманским столиком вносил поправки в курс, определяясь по пеленгу радиомаяков с Иводзимы и Окинавы, а Хэддок стоял с ним рядом. В задней части отсека, под лазом, ведущим в кормовую часть самолета, находился небольшой круглый люк. Отворив его, Дженьюэри присел, качнулся и ногами вперед проскользнул в проем люка.

Бомбовый отсек не отапливался. С наслаждением вдыхая прохладный воздух, Дженьюэри остановился перед бомбой. Стоун сидел на полу, а Шепард, лежа под корпусом бомбы, копался в ее потрохах. На резиновом коврик рядом со Стоуном были разложены инструменты, какие-то кругляши вроде блюдец и несколько металлических цилиндров. Выскользнув из-под бомбы, Шепард сел, пососал ободранные костяшки пальцев и уныло покачал головой.

– Слишком уж боязно в перчатках туда, внутрь, лезть, – сознался он.

– Да я тоже буду только рад, если вы там не нажмете куда не надо, – нервно сострил Дженьюэри.

Стоун с Шепардом засмеялись.

– Пока я вот эти зеленые провода на красные не заменю, ничего не взорвется, – пояснил Стоун.

– Ключ подай, – попросил Шепард.

Приняв от Стоуна разводной ключ, он вновь растянулся под бомбой и с явным трудом вывинтил из ее чрева цилиндрическую заглушку.

– Заглушка казенника, – прокомментировал он, уложив деталь на резиновый коврик.

В прохладе бомбового отсека спина Дженьюэри покрылась гусиной кожей. Стоун подал Шепарду один из цилиндров, и тот снова потянулся внутрь корпуса бомбы.

– Красным – в гнездо казенника.

– Знаю.

Оба напоминали автомехаников на залитом маслом полу гаража, под пригнанной в починку машиной. Подобной работой Дженьюэри сам занимался несколько лет, после того, как с семьей переехал в Висксберг, такой же речной город, как и Хиросима. Однажды безбортовой грузовик, везший по 4-й улице мешки с цементом, из-за внезапного отказа тормозов вынесло на перекресток с Ривер-род, и там он, как ни старался шофер отвернуть, с разгону врезался в проезжающий автомобиль. Игравший во дворе Фрэнк услышал грохот удара, увидел облако цементной пыли над перекрестком и подоспел к месту аварии одним из первых. Женщина и ребенок на пассажирских местах «Форда Т» погибли. С женщиной, управлявшей машиной, все оказалось о'кей. Ехали они из Чикаго. Подбежавшие соседи скрутили водителя грузовика, все рвавшегося помочь владелице «Форда Т», хотя он сам здорово рассек лоб и с ног до головы перемазался в белой цементной пыли...

– О'кей, теперь затянем заглушку, – сказал Стоун, передавая Шепарду ключ.

– Ровно шестнадцать оборотов, – откликнулся Шепард, обливавшийся потом даже в холоде бомбового отсека и прервавший работу, чтоб утереть лоб. – Теперь остается только надеяться, что молнией нас не зацепит.

Отложив ключ, он поднялся на колени и взял с коврика один из кругляшей.

«Будто колпак на колесо», – подумалось Дженьюэри.

Стоун, подсоединив провода, помог Шепарду установить на место еще два «колпака».

«Конвейер. Старое доброе американское ноу-хау», – думал Дженьюэри. Мурашки бежали по спине легкой рябью, волнами мягче кошачьих лап. Ученый не из последних, Шепард

собирал бомбу, будто механик, меняющий масло и свечи в обычном автомобиле... При этой мысли Дженьюэри накрыла тугая волна ярости, злобы на умников, сконструировавших эту бомбу. Они же трудились над ней там, в Нью-Мехико, больше года – неужели ж за все это время ни один не задумался, не осознал, что творит?

А впрочем, бросать-то бомбу не им...

Отвернувшись от Шепарда, чтоб тот не увидел его лица, Дженьюэри двинулся к люку. С виду бомба очень напоминала огромный, длинный мусорный бак с хвостовым оперением сзади и небольшой антенной спереди.

«Просто бомба, – подумал он, – просто еще одна бомба, провались оно все».

Шепард поднялся с пола и нежно потрепал крутой бок бомбы.

– Ну, вот она и жива.

Ни слова, ни единой мысли о том, чем кончится ее пробуждение к жизни...

Дженьюэри поспешил пройти мимо, опасаясь, как бы ненависть к этому человеку, прорав оболочку маски, не выдала его с потрохами. Пистолет на поясе зацепился за край люка, и он вообразил себе, будто стреляет в Шепарда, стреляет в Фитча с Макдональдом, а после до отказа толкает штурвал вперед, и «Лаки Страйк», клонув носом, круто пикирует в море, точно трассер на излете, точно машина, подбитая зенитным огнем, следом за всеми человеческими амбициями. Что с ними произошло, никто никогда не узнает, а этот мусорный бак отправится на дно Тихого океана, где ему самое место. Можно даже вовсе пристрелить всех до одного, а самому выброситься с парашютом, и тогда его, возможно, спасет, подберет один из «Супердумбо»<sup>17</sup>, идущих следом...

Мысль эта, промелькнув в голове, канула в небытие, и, вспоминая о ней, Дженьюэри сморщился от отвращения, хотя в глубине души был согласен: да, вариант стоящий. Выполнимый. Проблему решит.

Пальцы сами собой легли на застежку кобуры.

– Кофе будешь? – спросил Мэтьюз.

– Конечно, – ответил Дженьюэри.

Убрав руку от пистолета, он принял чашку, отхлебнул. Горячо.

Мэтьюз и Бентон настраивали оборудование «ЛОРАН»<sup>18</sup>. Услышав попискивание сигнала, Мэтьюз взялся за угольник, провел на карте линии от Окинавы с Иводзимой и постучал кончиком пальца по точке пересечения.

– Вот так искусство навигации и превращается в ремесло. Похоже, скоро даже в кабинах штурманских нужда отпадет, – сказал он, ткнув большим пальцем вверх, в сторону небольшого флюксигласового фонаря над головой.

– Конвейер. Старое доброе американское ноу-хау, – вздохнул Дженьюэри.

Мэтьюз согласно кивнул, меряя двумя пальцами расстояние от их места до Иводзимы. Бентон предпочел воспользоваться линейкой.

– Рандеву в пять тридцать пять, а? – сказал Мэтьюз.

Над Иво им предстояло соединиться с двумя машинами сопровождения.

– Я бы сказал, в пять пятьдесят, – поправил его Бентон.

– Что? Пересчитай заново, неуч: мы тут не на плоту!

– Ветер...

– Ветер? Да ну? Фрэнк, а ты на что ставишь?

– Пять тридцать шесть, – не задумываясь, отвечал Дженьюэри.

Штурманы рассмеялись.

– Вот видишь, в меня у него веры больше, – с дурацкой ухмылкой отметил Мэтьюз.

---

<sup>17</sup> «Супердумбо» – «Боинг-СБ-29», вариант Б-29, предназначенный для поисково-спасательных операций.

<sup>18</sup> «ЛОРАН» (англ. LOnge RAnge Navigation) – система дальней радионавигации.

Вспомнив, как замышлял перестрелять экипаж и направить машину в море, Дженьюэри плотно сжал губы, съезился от отвращения к самому себе. Нет, застрелить их он не сумел бы ни за что в мире: ведь это же если и не друзья, то по крайней мере товарищи. Почти что друзья. Ничего дурного ему никогда не желали...

В отсек поднялись Шепард со Стоуном. Мэтьюз предложил кофе и им.

– Ну, как там? Готова погремушка для джапов?

Шепард, кивнув, припал к кружке.

Дженьюэри двинулся дальше, мимо пульта Хэддока. Еще один план из разряда неосуществимых... Что же делать? Судя по всем индикаторам, по всем приборам бортмехаников, машина в полном порядке. Может, испортить что-нибудь? Провод, к примеру, где-нибудь обрывать?

– Когда будем над Иво? – обернувшись к нему, спросил Фитч.

– Мэтьюз говорит, в пять сорок.

– Ну, если врет, пусть лучше сам вешается.

Бык хамоватый... В мирное время, небось, ошивался бы по бильярдным да добавлял бы копам хлопот, а вот для войны – просто само совершенство. Да, замечательно Тиббетс людей себе подобрал... почти ни в ком не ошибся.

Протиснувшись назад, мимо Хэддока, Дженьюэри остановился, обвел взглядом собравшихся в кабине штурманов. Шутят, смеются, пьют кофе... и все таковы же, как Фитч, – молодые, задиристы, умелы и легкомысленны. Вот и сейчас попросту развлекаются, ждут приключений – да, именно такое впечатление сослуживцы по 509-й производили на Дженьюэри чаще всего. Бывает, ворчат, бывает, с трудом преодолевают страх, но службой наслаждаются от всей души. Мысли сами собой устремились в будущее, и Дженьюэри увидел, в кого превратятся со временем все эти юнцы, так ясно, словно все они выстроились перед ним шеренгой, в деловых костюмах, лысеющие, преуспевшие. Сейчас они задиристы, умелы, ни о чем не задумываются, но с течением лет, когда великая война отступит в прошлое, будут вспоминать ее, озираясь назад с неизменно крепнущей, усиливающейся ностальгией – ведь они уцелели, они не погибли. Каждый военный год их память превратит в десять, дабы война навсегда осталась главным событием их жизни, временами, когда они собственными руками, каждый день, каждым поступком своим вершили историю, когда вопросы морали были просты и ясны, когда решения за них принимало начальство, – и посему с каждым минувшим годом старея, дряхлея духом и телом, живя в той ли, иной колее, уцелевшие будут, сами того не сознавая, все усерднее и усерднее толкать мир к следующей войне, в глубине души полагая, будто стоит им вернуться на мировую войну, война, точно по волшебству, вновь сделает их теми же, прежними – вернет им былую молодость, и свободу, и радость. Власть к тому времени будет за ними, так что сложностей с началом новой войны у них не возникнет.

Да, новых войн миру не миновать. Дженьюэри явственно слышал их в хохоте Мэтьюза, видел их в блестящих от возбуждения глазах остальных.

– Ну, вот и Иво, а времени – пять тридцать одна. Я выиграл, так что давай раскошеливайся!

А в будущих войнах у них появятся новые бомбы вроде нынешней «погремушки», да не одна, не две – сотни, это уж наверняка...

Перед глазами Дженьюэри возникли новые бомбардировщики, новые юные летчики наподобие их экипажа, вне всяких сомнений, летящие на Москву или еще куда – огненный шар каждой столице, почему нет? И ради чего? Чего ради? Ради стариковских надежд, точно по волшебству, снова стать молодыми. Что может быть разумнее?

«Лаки Страйк» несся над Иводзимой. До Японии – еще три часа.

В наушниках затрещали голоса с бортов «Грейт Артиста» и «Намбер 91». Достигнув точки randevu, все три машины взяли курс на северо-запад, к Сикоку, первому японскому острову на пути. Дженьюэри отправился в хвостовую часть, к туалету.

– Ты о'кей, Фрэнк? – спросил Мэтьюз.

– Ну да. Вот только кофе – гадость ужасная.

– А когда он был лучше?

Сдернув на лоб козырек бейсболки, Дженьюэри поспешил прочь. Коченски и прочие бортстрелки резались в покер. Облегчившись, Дженьюэри вернулся вперед. Мэтьюз, подсев к столику и обложившись картами, готовил оборудование к постоянному слежению за отсутствием бокового сноса: теперь без этого – никуда. Хэддок с Бентоном тоже разошлись по боевым постам и занялись делом. Обогнув пилотов, Дженьюэри спустился в нижний из носовых отсеков.

– Удачной стрельбы! – крикнул ему вслед Мэтьюз.

Впереди вроде бы было потише. Усевшись на место, Дженьюэри надел наушники, подался вперед и устремил взгляд наружу, сквозь переплет остекления кабины.

Рассвет окрасил небесный свод в розовое от края до края. Розовый плавно, мало-помалу, сменялся лавандовым, а из лавандового, оттенок за оттенком, переходил в синеву. Океан внизу казался сверкающей лазурной равниной, испещренной мраморными прожилками пушистых, нежно-розовых облаков, а небо над головой – огромным куполом, светлым у горизонта и понемногу темнеющим ближе к вершине. Дженьюэри всю жизнь полагал, что на рассвете лучше всего видно, как велика земля и как высоко поднялся над ней самолет. Сейчас машина словно бы шла по верхней кромке поверхности атмосферы, и Дженьюэри ясно видел, насколько она тонка, эта кожица воздуха: взвейся хоть к самой ее границе, земля все равно простирается вдаль, во все стороны, без конца. Согревшийся кофе, он порядком вспотел. Солнце сверкало, отражаясь от плексигласа. Часы показывали шесть. Самолет и лазурную полусферу впереди самолета рассекал надвое бомбоприцел. В наушниках затрещало, и Дженьюэри выслушал доклады передовых машин, достигших городов-целей. Кокура, Нагасаки, Хиросима... всюду облачность – шесть десятых. Может, из-за погодных условий атаку придется отменить?

– Посмотрим сначала на Хиросиму, – объявил Фитч.

Дженьюэри с возобновившимся интересом уставился вниз, на россыпи миниатюрных облаков, поправил соскользнувший с кресла парашют, представил, как надевает его, прокрадывается к центральному аварийному люку под штурманской кабиной, отворяет люк и... и покидает самолет, никем не замеченный. А они пускай что хотят, то и делают. Пусть бомбят, пусть не бомбят – с Дженьюэри взятки гладки. Он будет парить над землей, точно пух одуванчика, чувствовать свежие токи прохладного воздуха на щеках, укрытый тугим шелковым куполом, словно своим, личным маленьким небом.

Безглазое, дочерна обожженное лицо...

Дженьюэри вздрогнул. Казалось, кошмар может вернуться, возобновиться в любую минуту. Спрыгнув, он ничего не изменит, и бомба упадет в цель... и станет ли ему легче там, в волнах собственного Внутреннего моря? «Наверняка!» – вопил один из голосов в голове. «Вполне возможно», – соглашался второй... однако это лицо неотвязно маячило перед глазами.

В наушниках зашуршало.

– Лейтенант Стоун закончил ставить бомбу на взвод, и я могу сообщить всем вам, что у нас на борту. У нас на борту – первая атомная бомба в мире.

«Не совсем», – подумалось Дженьюэри под дружный свист в наушниках. Самую первую взорвали в Нью-Мексико. Расщепление атомов – этот термин он уже слышал. Эйнштейн говорил, что в каждом атоме заключена невероятная мощь. Расщепи один, и... ну да, фильм о результатах видели все.

Далее Шепард завел речь о радиации, напомнив Дженьюэри кое о чем еще. Энергия атома высвобождается в форме рентгеновского излучения. Убивать людей рентгеновскими лучами! Пожалуй, это действительно против Женевской конвенции.

– Когда бомба будет сброшена, – вклинился Фитч, – лейтенант Бентон зафиксирует нашу реакцию на увиденное. Зафиксирует для истории, так что смотрите мне: не выражаться!

«Не выражаться»... Дженьюэри чудом не захохотал в голос. Пусть у тебя на глазах первая атомная бомба в истории испепелит рентгеновским излучением огромный город со всеми жителями, но сквернословить или же богохульствовать – чтобы ни-ни!

Шесть двадцать. Пальцы Дженьюэри стиснули окуляры бомбоприцела, что было сил. Голова отяжелела, будто у него жар. В беспощадном утреннем свете кожа на тыльной стороне ладоней казалась слегка прозрачной, а крохотные складки морщинок на ней напоминали затейливую вязь волн на поверхности моря. Ладони его, подобно всему остальному, состояли из атомов. Атом – мельчайший кирпичик материи, на эти побелевшие от напряжения, дрожащие руки таких кирпичиков требуются миллиарды. Расщепи один атом – получишь огненный шар, а значит, энергия, заключенная в каждой ладони... Повернув руку раскрытой ладонью вверх, Дженьюэри взгляделся в папиллярные узоры и крапчатую плоть под полупрозрачной кожей. Выходит, каждый человек – бомба, способная разнести в прах весь мир...

Дженьюэри замер. Казалось, таящаяся в нем энергия пробуждается, упруго пульсирует с каждым ударом сердца. Что же за дивные создания – люди, обитатели необъятного лазурного мира! Но вот они мчатся вперед, чтоб сбросить бомбу на город и погубить сотню тысяч этих чудесных созданий... Угодив лапой в капкан, лиса или енот начинает рваться из его челюстей, пока не изранит, не вывихнет, а то и не переломит лапу, и только тогда усталость и боль заставят зверька уgomониться, утихнуть. В эту минуту Дженьюэри точно так же хотелось утихнуть, забыть обо всем. Даже думать, и то было больно. Все его планы избавления – полная чушь, глупость, бессмыслица. Уж лучше успокоиться и смириться. Пытался он ни о чем не думать, но все без толку. Как так – не думать? Пока он в сознании, от мыслей никуда не денешься. Разум, попавший в ловушку, противится неизбежному упорнее, дольше любой лисицы.

Приподняв нос, «Лаки Страйк» начал долгий, пологий подъем на высоту бомбометания. Под облаками на горизонте зеленел остров. Япония.

«Нет, точно жарче становится. Должно быть, система отопления барахлит», – подумалось Дженьюэри.

Не думать... не думать ни о чем...

Каждые пару минут Мэтьюз давал Фитчу небольшие поправки к курсу.

– Два семь пять... Да, вот так.

В попытках забыться Дженьюэри принялся вспоминать детство. Запряженный в плуг мул впереди. Переезд в Виксберг (к рекам). Там, в Виксберге, поскольку заике друзьями обзавестись нелегко, он играл сам с собой, и игру для себя изобрел тоже сам. Развлекался, воображая, будто всякий его поступок невероятно важен, так как определяет дальнейшую судьбу всего мира. К примеру, если он перейдет дорогу перед вон той машиной, машина не успеет вовремя миновать следующий перекресток, и в нее врежется грузовик, и водитель машины, погибнув, не сможет изобрести летучую лодку, которая спасет президента Вильсона от похитителей... а значит, машину нужно пропустить – ведь от нее зависит все, что ни случится после. «Проклятье, – подумал Дженьюэри, – проклятье, вспомни о чем-нибудь *другом!*» К примеру, последний прочитанный рассказ о Хорнблоуэре – как *он* выпутался бы из этого положения? Округлившийся, точно заглавное О, рот матери, вбежавшей на кухню и увидевшей его руку... Иристо-бурая Миссисипи за гребнями дамб...

Страдальчески сморщившись от безысходности, от горькой обиды, Дженьюэри замотал головой. Теперь-то он, наконец, понимал: ни одна из улочек памяти не спасет, не уведет его от жестокой действительности, так как во всей его жизни нет ничего, не связанного с нынешним

положением, и куда ни направь ход мыслей, разум всюду будет искать спасения, защиты от того, что ждет впереди.

Меньше часа до цели. «Лаки Страйк» шел на тридцати тысячах футов, на высоте бомбометания. Фитч передал Дженьюэри показания альтиметра для ввода в бомбоприцел, а Мэтьюз сообщил скорость ветра. В глазу защипало от пота, и Дженьюэри яростно заморгал. Восходящее солнце позади, за кормой, сверкало не хуже атомной бомбы, отражаясь от каждого уголка, каждого краешка плексигласа, озаряя гермокабину слепящим светом. Рухнувшие планы смешались, спутались в голове, дыхание участилось, в горле пересохло. Сам понимая, насколько все это бессмысленно, Дженьюэри снова и снова честил на все корки ученых, и Трумэна, и затеявших всю эту заваруху японцев, растреклятых желтомордых убийц: сами накликали беду на свою голову, так пусть теперь вспомнят Перл! Сколько американцев погибло тогда под японскими бомбами, хотя войны никто никому не объявлял? Развязанная японцами, война возвращается к ним, несет им возмездие – заслуженное возмездие. Однако захват Японии займет не один год, обойдется в миллионы жизней, так не лучше ли покончить с ней сейчас, сегодня, раз навсегда, они заслужили, заслужили ее, кипящую реку, полную дочерна обожженных, умирающих молча людей, треклятая раса твердолобых маньяков!

– Вот и Хонсю, – сказал Фитч, возвращая Дженьюэри в мир на борту «Лаки Страйк».

Машина шла над Внутренним морем. Вскоре они достигнут второй по очередности цели, Кокуры, что находится малость южнее. Семь тридцать. Остров был укрыт облаками куда гуще, чем море, и Дженьюэри снова воспрянул духом в надежде, что выполнению задания помешает погода. Да, но ведь они заслужили возмездие! И вылет этот ничем не хуже и не лучше всех прежних. Сколько бомб сбросил он на Африку, на Сицилию, на Италию, на Германию...

Склонившись вперед, Дженьюэри снова прильнул к окулярам. В перекрестье прицела синело море, но впереди, у верхней кромки, виднелась земля. Хонсю. При двухстах тридцати милях в час до Хиросимы – от силы полчаса ходу, а может, и того меньше. Интересно, выдержит его сердце подобный темп в течение целого получаса?

– Мэтьюз, – заговорил Фитч, – принимай руководство. Командуй, мы выполняем.

– Два градуса к югу, – только и сказал в ответ Мэтьюз.

Наконец-то в их голосах появился хотя бы намек на понимание и даже страх.

– Дженьюэри, ты готов? – спросил Фитч.

– Да. Жду, – отозвался Дженьюэри и сел прямо, чтоб Фитч смог увидеть его затылок.

Бомбоприцел возвышался между коленей. Переключатель сбоку запускал процедуру сброса: ведь бомба не покинет борт самолета немедленно, по щелчку тумблера, а окажется в воздухе только после пятнадцатисекундного радиосигнала, предупреждения машинам эскорта, и прицел был настроен соответственно, с учетом задержки.

– Курс два шесть пять, – велел Мэтьюз. – Зайдем на цель прямо против ветра.

И таким образом отпадет надобность в учете бокового сноса бомбы.

– Дженьюэри, настройку прицела прикрути до двухсот тридцати одной мили в час.

– Два три один, – отрапортовал Дженьюэри.

– Всем, кроме Дженьюэри и Мэтьюза, надеть защитные очки, – приказал Фитч.

Дженьюэри поднял с пола темные очки-консервы. Глаза... глаза нужно поберечь, не то вытечь могут. Надев очки, он опустил голову, уперся лбом в окуляры. «Лаки Страйк» по-прежнему несся к цели. Дженьюэри снял очки, а когда снова взглянул в прицел, в перекрестье показалась суша. Что на часах? Ровно восемь. Подъем, газеты, утренний чай...

– Десять минут до цели, – сообщил Мэтьюз.

Точкой прицеливания был мост Айои, Т-образный мост в самом центре огромного города, охватившего дельту реки. Опознать – проще простого.

– Облаков-то там, внизу, сколько, – заметил Фитч, указав подбородком вперед. – Цель разглядишь?

- Откуда же знать? Пробовать нужно, – ответил Дженьюэри.
- Можно сделать второй заход и навестись по радару, если потребуется, – сказал Мэтьюз.
- Дженьюэри, до полной уверенности не бросать, – распорядился Фитч.
- Есть, сэр.

В прорехах меж облаками мелькали скопища крыш, опутанных паутиной серых дорог. Вокруг зеленел лес.

– Отлично, – воскликнул Мэтьюз, – мы на месте! Так держать, капитан! Дженьюэри, скорость та же, два три один.

– И курс тот же, – подтвердил Фитч. – Дженьюэри, дело за тобой. Всем еще раз проверить защиту глаз и подготовиться к повороту.

Мир Дженьюэри сузился до ширины окуляра бомбоприцела. Лес, испещренный штрихами облаков, невысокие гребни холмов... и вот они, окраины Хиросимы. Воды широкой реки илисто-буры, бледно-зеленая суша подернута дымкой, на фоне зелени тускло сереет растущая паутина дорог. Еще миг, и вся земля впереди покрылась крохотными прямоугольниками домов, а затем в поле зрения появился центр города – длинные, узкие острова, словно бы воткнутые в темную синеву залива. Город мелькал в перекрестье прицела, остров за островом, облако за облаком... Дженьюэри затаил дух. Пальцы на тумблере отвердели, как камень. Вот впереди, прямо под пересечением прицельных линий, среди облаков замаячило крохотное Т. Казалось, пальцы вот-вот раздавят рычажок тумблера. Неторопливо вдохнув, Дженьюэри вновь задержал дыхание. Обзор заслонила пелена облаков, за ней показался следующий остров.

– Почти на месте, – спокойно сказал Дженьюэри в микрофон. – Так держать.

Теперь, когда дело дошло до него, сердце гудело не хуже райтовых двигателей. Дженьюэри сосчитал до десяти. Теперь в перекрестье одно за другим уплывали назад облака вперемишку с зеленью леса, расчерченного свинцово-серыми линиями дорог.

– Я включил тумблер сброса, но сигнала не получаю! – прохрипел он в микрофон, изо всех сил прижимая к панели рычажок выключателя.

Фитч заорал нечто неразборчивое, но его крики перекрыл треск помех и голос Мэтьюза...

– Пробую еще раз! – прокричал Дженьюэри, всем телом прикрывая от пилотов бомбоприцел. – Ага... ага... секунду...

С этими словами он перебросил рычажок тумблера сброса вниз. В наушниках негромко, басовито загудело.

– Есть! Пошла бомба! Пошла!

– Но куда она упадет?! – проорал в ответ Мэтьюз.

– Ровнее курс! – крикнул Дженьюэри.

«Лаки Страйк», вздрогнув, поднялся выше – футов на десять, а то и на двадцать. Дженьюэри извернулся и бросил взгляд вниз. Бомба на миг зависла в воздухе прямо под брюхом «летающей крепости», но тут же, слегка качнувшись из стороны в сторону, устремилась к земле.

Машина накренилась вправо и ушла в такое крутое пике, что центробежная сила швырнула Дженьюэри об остекление кабины. Несколькими тысячами футов ниже Фитч выровнял самолет и полным ходом повел его на север.

– Что видишь? – крикнул он.

– Ничего, – выдохнул в микрофон Коченски со своего места у хвостовой пушки.

Не без труда поднявшись, Дженьюэри потянулся к темным очкам, однако на голове их не оказалось. Где-либо рядом – тоже.

– Сколько от сброса прошло? – спросил он.

– Тридцать секунд, – отвечал Мэтьюз.

Дженьюэри крепко-крепко зажмурил глаза.

Кровь в веках вспыхнула алым, а затем – белизной.

В наушниках зазвучал разноголосый гомон:

– О господи... Бог ты мой...

Машину подбросило, резко швырнуло в сторону, в уши ударил пронзительный скрип металла. Вдавленный в остекление кабины чудовищной перегрузкой, Дженьюэри с трудом оттолкнулся от плексигласового фонаря.

– Еще волна! – завопил Коченски.

«Лаки Страйк» снова бросило вбок, бомбардировщик затрясся, не слушаясь управления. «Ну, вот и он, конец света, – подумалось Дженьюэри. – Теперь-то уж моя проблема наверняка решена».

Однако, открыв глаза, он обнаружил, что зрения не потерял. Двигатели ревели, воздушные винты вращались, как ни в чем не бывало.

– Взрывные волны! – крикнул в микрофон Фитч. – Теперь все о'кей. Гляньте-ка! Гляньте... ох, ни хрена ж себе!

Дженьюэри оглянулся назад. Пелена туч лопнула, расступаясь под натиском столба черного дыма, поднявшегося кверху от огненно-алого основания далеко внизу. Вершина столба уже достигала их высоты. Изумленные возгласы пополам с треском статики отдались болью в ушах, но Дженьюэри не сводил глаз с множества огней, пожаров, впадающих в озеро пламени у основания облака. Сквозь брешь в тучах он явственно видел их, шесть рукавов речной дельты, а там, чуть левее огня и дыма – город, Хиросиму, целую и невредимую.

– Мимо! – заорал во весь голос Коченски. – Промаях!

Дженьюэри отвернулся, пряча от глаз пилотов улыбку, застывшую на лице, опустил в кресло и облегченно перевел дух.

Но облегчение его оказалось недолгим.

– Да чтоб тебе провалиться! – заорал сдерживаемый Макдональдом Фитч из пилотской кабины. – Дженьюэри, живо сюда!

– Есть, сэр.

Ну, вот и новая куча проблем...

Превозмогая дрожь в ослабших коленях, Дженьюэри поднялся и развернулся к пилотам. Кончики пальцев правой ладони болезненно ныли. Весь экипаж сгрудился впереди, у остекления гермокабины, и Дженьюэри тоже устремил взгляд наружу.

Вскармливаемое адским пеклом и дымом, черной «ножкой» струящимся в небеса, грибовидное облако разрасталось, клубилось, словно росту его не будет конца. На глаз около двух миль в поперечнике, добрых полмили в высоту, оно поднялось куда выше «летающей крепости», казавшейся рядом с ним жалкой мухой.

– Как думаете, мы все теперь бесплодными станем? – спросил Мэтьюз.

– Я на вкус радиацию чувствую, – объявил Макдональд. – А вы? Будто свинец во рту.

Вспышки пламени, рвущегося в облако снизу, придавали «ножке» зловещий пурпурный оттенок. Огромный, точно живой, гриб взрыва поднялся над землей на шестьдесят тысяч футов, и все это учинено одной-единственной бомбой... Ошеломленный, Дженьюэри протиснулся мимо пилотов в штурманскую кабину.

– Капитан, фиксацию реакции каждого начинать не пора? – спохватился Бентон.

– К дьяволу все это, – прорычал Фитч, направляясь следом за Дженьюэри.

Однако Шепард, спустившийся вниз из кабины штурманов, опередил его. Промчавшись через отсек, он сгреб Дженьюэри за плечо, и Дженьюэри, едва не споткнувшись, шарахнулся прочь.

– Ублюдок! – заорал Шепард. – Нервы сдали?! Трус!

Обрадованный появлением противника, цели, Дженьюэри бросился к Шепарду, но подошедший Фитч ухватил его за ворот и рывком развернул к себе, так что оба оказались нос к носу.

– Это правда?! – разозленный не меньше Шепарда, прокричал он. – Ты вправду нарочно сброс запорол?!

– Нет, – буркнул Дженьюэри.

Страхнув с ворота руки Фитча, он с разворота врезал ему в зубы. Удар вышел что надо. Фитч пошатнулся, едва не упал, но тут же опомнился и наверняка сделал бы из Дженьюэри отбивную, если бы Мэтьюз, Бентон и Стоун не удержали его, во весь голос требуя прекратить свару.

– Да заткнитесь же там! Заткнитесь! – заорал из пилотской кабины Макдональд.

Вокруг воцарился суший бедлам, однако Фитч противиться миротворцам не стал, и вскоре на борту сделалось тихо. Последним умолк Макдональд, громогласно требовавший тишины. Дженьюэри, не отнимая руку от кобуры, отступил в проход между кресел пилотов.

– Когда я щелкнул тумблером, в перекрестье был город, – сказал он. – Но выключатель ни с первого, ни со второго раза не сработал, и...

– Вранье! – крикнул Шепард. – С выключателем все было в полном порядке, я сам проверял! Вдобавок бомба взорвалась в *милях* от Хиросимы, глядите сами! Значит, задержка не меньше *минуты*! – Утерев слюну с подбородка, он ткнул пальцем в сторону Дженьюэри. – Это все ты!

– Ошибаешься, – возразил Дженьюэри, однако видя, что остальных Шепарду удалось убедить, сделал еще шаг назад. – Одним словом, передавайте меня комиссии по расследованию, да поскорее, а до тех пор оставьте в покое. Кто попробует снова тронуть меня, пристрелю.

Полоснув угрожающим взглядом Фитча и Шепарда, он отвернулся, прыгнул вниз и опустился в бомбардирское кресло. Казалось, он беззащитен, точно загнанный на дерево енот.

– Тебя *самого* за такое к стенке поставят! – завизжал ему вслед Шепард. – Неподчинение приказу... государственная измена...

Однако Мэтьюз со Стоуном дружно велели ему заткнуться.

– Давайте-ка убираться скорее, – донесся сверху голос Макдональда. – Не чувствуете, что ли? У меня будто свинца полон рот.

Дженьюэри устремил взгляд наружу, за плексиглас фонаря. Исполинское облако все еще пухло, клубилось, дышало огнем. Один-единственный атом... Ну что ж, лесу, определенно, конец. При этой мысли Дженьюэри чуть не расхохотался, но вовремя опомнился и взял себя в руки, опасаясь скатиться в истерику. Сквозь брешь в облаках ему впервые удалось как следует разглядеть Хиросиму. Целый и невредимый, город лежал поверх островов, словно огромная карта. Ну, вот и все. Адское пекло у основания облака-гриба растянулось на восемь, а то и десять миль вдоль края залива и на милю-другую – в глубину суши. Весь лес в этом месте выгорит дотла, полностью, без следа будет стерт с лица земли. Затем джапы сумеют оценить нанесенный взрывом урон на месте, и если сказать им, будто это была демонстрация, предупреждение... и если они поторопятся... да, тогда у них будет шанс. Возможно, все выйдет, как надо.

На смену сброшенному напряжению явилась невероятная слабость, однако тут Дженьюэри вспомнил слова Шепарда и понял: чем бы ни обернулись все эти планы, дела его плохи. Плохи... Ха! Какое там «плохи», дела – хуже некуда. «Будь прокляты эти японцы», – с ожесточением подумал он, пожалев, что вправду не сбросил бомбу им на головы.

Опустошенный отчаянием, Дженьюэри обмяк, задремал и очнулся от дремы лишь долгое-долгое время спустя. Разум его вновь сделался угодившим в капкан зверьком, заметался из стороны в сторону, строя один план за другим. Весь долгий, унылый полет домой прошел в размышлениях. Мысли кружились в голове с быстротою воздушных винтов, а то и быстрее, и к тому времени, как «Лаки Страйк» приземлился на Тиниан, план у него появился. Пожалуй, не очень-то стоящий, не слишком надежный, но ничего лучшего ему в голову не пришло.

Ангар для инструктажей снова со всех сторон окружали «эм-пи». Вывалившись из грузовика следом за остальными, Дженьюэри вошел внутрь. Устремленные на него взгляды он чувствовал остро, как никогда – жесткие, осуждающие, беспощадные... однако устал настолько, что ему было не до этого. Не спал он уже более тридцати шести часов, да и прежде, с тех пор, как в последний раз, неделю назад, побывал в этом самом ангаре, глаз почти не смыкал. За отсутствием стабилизирующей вибрации двигателей все вокруг дрожало, как в лихорадке, рев тишины оглушал. Все, на что он был способен, – это как можно тверже держаться самой основы, самой сути задуманного. Злобные взгляды Фитча и Шепарда, обиду и недоумение в глазах Мэтьюза следовало выкинуть из головы, и как можно скорее. По счастью, зажженная сигарета в этом ему помогла.

Под градом вопросов, под множество споров, остальные описали выход на цель, а затем потемневший с лица, изрядно осунувшийся Скоулз и офицер из разведслужбы принялись расспрашивать о сбросе бомбы. Тут Дженьюэри, согласно плану, требовалось настаивать на изначальной версии.

– ...И когда цель удара оказалась в перекрестье, я опустил рычажок тумблера сброса, но ответного сигнала не получил. И начал щелкать тумблером, пока сигнал не включился. Далее – пятнадцатисекундная задержка и сброс.

– Что могло быть причиной внезапного появления сигнала?

– В тот момент я ничего необычного не заметил, но...

– Да не могло этого произойти! – вмешался Шепард, покрасневший как рак. – Я проверял выключатель перед вылетом, и с ним все было в полном порядке. Кроме того, сброс был выполнен более чем через минуту после...

– Капитан Шепард, – оборвал его Скоулз, – вас мы тоже вскоре выслушаем.

– Но ведь он очевидно лжет...

– Капитан Шепард! Для меня лично это совершенно не очевидно. Помолчите, пока до вас очередь не дойдет.

– Как бы там ни было, – продолжал Дженьюэри в надежде увести допрос в сторону от долгого промедления, – наблюдая падение бомбы, я заметил кое-что странное. Возможно, из-за этого ее и заклинило. Мне нужно обсудить наблюдения с одним из ученых, разбирающимся в устройстве бомбы.

– Что именно вы наблюдали? – с нескрываемым подозрением спросил Скоулз.

Дженьюэри призадумался.

– По этому поводу будет расследование, верно я понимаю?

– Расследование уже ведется, капитан Дженьюэри, – нахмурившись, ответил Скоулз. – Здесь и сейчас. Доложите нам, что вы видели.

– Но ведь этим допросом разбирательство не ограничится?

– Да, капитан. Похоже, дело будет разбираться в военном суде.

– Так я и думал. Я не желаю говорить ни с кем, кроме своего адвоката и ученого, знакомого с бомбой.

– Я, я – ученый, знакомый с устройством бомбы! – взорвался Шепард. – Заметил бы что-нибудь, мог бы сразу мне и сообщить, преда...

– Я сказал, мне нужен ученый! – вскричал Дженьюэри, поднявшись и встав лицом к лицу со свекольно-багровым от ярости Шепардом по ту сторону стола. – Ученый, а не какой-то проклятый Богом гайковерт!

Поднятый Шепардом крик подхватили другие, и ангар зазвенел от ожесточенных споров. Пока Скоулз восстанавливал порядок, Дженьюэри уселся на место, всем видом давая понять, что больше из него ни слова не вытянуть.

– Я позабочусь о назначении вам адвоката и о начале судебного разбирательства, – решил, очевидно растерянный, Скоулз. – С этой минуты вы объявляетесь арестованным по подозрению в сознательном невыполнении боевого задания.

Дженьюэри согласно кивнул, и Скоулз передал его «эм-пи».

– И последнее, – сказал Дженьюэри, с трудом преодолевая усталость. – Передайте генералу Лемею: если известить японцев, будто удар этот был предупреждением, он может возыметь тот же эффект, как и...

– А что я вам говорил! – заорал Шепард. – Я же говорил: он это сделал нарочно!

Соседи по столу усадили Шепарда на место, но большинство собравшихся он сумел убедить. Теперь даже Мэтьюз взирал на Дженьюэри изумленно и зло. Охваченный смутным ощущением, будто план его, хоть пока что и развивается глаже некуда, в перспективе не так уж хорош, Дженьюэри устало покачал головой.

– Я просто стараюсь извлечь из положения максимум возможного.

Только невероятным усилием воли заставил он собственные ноги вынести хозяина из ангара с достоинством.

Камеру ему устроили в одном из свободных учебных кабинетов для младшего офицерского состава. Еду приносили «эм-пи». Первые пару дней Дженьюэри только и делал, что спал. На третий день, выглянув в зарешеченное окно кабинета, он увидел тягач, выволакивающий за ограду расположения группы укрытую брезентом платформу в сопровождении джипов, битком набитых военной полицией. Все это здорово походило на военные похороны. Бросившись к выходу, Дженьюэри принялся барабанить в дверь, пока на стук не явился один из юных «эм-пи».

– Что там происходит? – спросил Дженьюэри.

«Эм-пи» смерил его ледяным взглядом.

– Готовят новый удар, – скривив губы, ответил он. – И на этот раз все сделают, как надо.

– Нет! Нет! – вскричал Дженьюэри, рванувшись к «эм-пи», но тот отшвырнул его назад и запер дверь на замок. – Нет!!!

Дико ругаясь, он колотил в дверь, пока кулаки не заныли.

– Это же *ни к чему*, ни к чему! Ведь можно же и *без этого*!

В конце концов маска его дала трещину. Рухнув на койку, Дженьюэри безудержно зарыдал. Все, чего ему удалось добиться, утратило смысл. Выходит, он пожертвовал собой ни за понюх табаку.

Спустя день или два после этого «эм-пи» впустил к нему какого-то полковника, седоволосого, чопорного, едва не раздавившего Дженьюэри пальцы в железном рукопожатии. Глаза его отливали бледной, ледяной синевой. Всем существом своим гость излучал неприязнь.

– Полковник Дрэй, – представился он. – Мне приказано защищать вас перед военным судом. Для этого мне потребуются все имеющиеся у вас факты, до мелочей, так что давайте начнем.

– Я не стану ни с кем разговаривать, пока не увижу ученого-атомщика.

– Но я – ваш защитник. Ваш адвокат...

– Плевать мне, кто вы такой, – оборвал его Дженьюэри. – Моя защита зависит от того, сможете ли вы привести одного из этих ученых *сюда*. Чем выше рангом, тем лучше. И мне нужно поговорить с ним наедине.

– Я обязан буду при этом присутствовать.

Значит, он согласен... однако теперь даже защитника следовало считать врагом.

– Естественно, – отвечал Дженьюэри, – вы же – мой адвокат. Но больше чтоб никого. Возможно, от этого зависит секретность нашей ядерной программы.

- Вы обнаружили свидетельства саботажа?
  - Ни слова больше, пока этот ученый не окажется здесь.
- Раздраженно кивнув, полковник вышел за дверь.

К вечеру следующего дня полковник вернулся, сопровождаемый еще одним человеком.

- Вот это – доктор Форест.
- Участвовавший в разработке бомбы, – добавил Форест.

Стриженный «ежиком», в армейской рабочей робе, он походил на военного куда сильнее полковника. Подозревая подвох, Дженьюэри смерил обоих настороженным взглядом.

– Вы поручитесь за подлинность личности этого человека словом офицера? – спросил он Дрэя.

- Разумеется, – сухо ответил полковник, приняв оскорбленный вид.

– Итак, – заговорил доктор Форест, – у вас возникли проблемы со сбросом изделия в нужный момент. Расскажите, что вы наблюдали.

Дженьюэри перевел дух, набрал полную грудь воздуха. Настало время подписать себе приговор.

– Ничего я такого не наблюдал, – прямо ответил он. – Я хочу, чтобы вы передали от меня ученым следующее. Ребята, вы работали над этой штукой не один год, и у вас наверняка было время подумать, как вашу бомбу используют. Вы знали, что джапов можно принудить к сдаче, устроив им демонстрацию...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.